

**Пантелеймон Александрович  
Кулиш  
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ  
ПОЛЬШИ (1340–1654)  
ТОМ 3**

**Глава XXI**

*Совещания панов о спасении отечества. —  
Выбор боевой позиции под Збаражем. — Казаки и  
татары осаждают панское войско. —  
Переговоры представителя казаков с  
представителем шляхты. — казацкое искусство  
маскировать военные действия. — Король идет к  
осажденным на выручку.*

Король советовался с панами рады в обстоятельствах, как выражались его советники, «чреватых опасностью (in praegnantī Reipublicae periculo)». Со стороны Москвы не представлялось никакой опасности, но было страшно Венгрии и шведов, да еще пугала панов местная, то есть католическая чернь, как бы она не поддавалась внушениям своевольников и не взбунтовалась подобно черни схизматической. (Zeby plebs tutejsza,

chwyciwszy sie jakich licentiosos, nie udala sie takze do rebeliej). Находили полезным отправить посольство к «турецкому императору» и к хану; но где взять денег? Ответом на этот вопрос было решение эксплуататоров государства: отложить посольство до сейма, который назначен на 22 ноября.

Между тем было известно и тут же заявлено от имени короля, что люди, назначенные прежде в эти посольства, не двинулись из дому, однакож деньги на поездку получили (a pieniadze Rzpltej pobrali).

Расхватывая из рук у короля государственные имущества, а у своего шляхетского народа собираемые с него деньги, равно как и доходы с городов, паны сами устраивали Польше руину, которая постигла бы ее и без казако-татарского нашествия.

Теперь представлялось два способа спасти отечество: или посредством грошевого, иначе платного жолнера, или посредством поголовного вооружения шляхты, иначе посполитого рушения. Первый способ находил более действительным даже оракул панского кунктаторства, Кисель; но паны, по его словам, не хотели прибегнуть к мерам чрезвычайным, были скупы на пожертвования; и потому оставался только второй, опасный, по его мнению, способ. Третьего не было (non datur

tertium), по словам Киселя. «Бывали далеко маловажнейшие случаи» (писал он к Оссолинскому от 23 (13) июля), «когда духовные и светские паны в несколько недель созидали своими жертвованиями войско. Теперь, когда погибла половина Речи Посполитой, когда дело идет об её остатке и вместе с ним о королевской короне, они едва были в состоянии поставить перед неприятелем 9 или 10 тысяч. Но мы были бы несправедливы к Господу Богу, когда бы назвали себя такими убогими, чтобы нас не хватило на жолнера. За исключением тех, которые ничего уже не имеют в отчизне, у нас, по милости Божией, многие обладают средствами (*plurimi pollut facultatibus*) к спасению отечества».

Один из членов королевской рады советовал назначить одного гетмана: ибо не слыхал он, чтобы где-либо на свете было три гетмана. По крайней мере (говорил он) деньги на непредвидимые издержки (*propter secretum bellici consilii*) надобно вручить одному, а не двоим, или троим. Но паны не доверяли взаимно своей честности, и полагали, что между шестью глаз не так будет, что называется, шито и крыто.

Так как в государственном совете заседали шесть бискупов, которые первенствовали перед сенаторами светскими, то король в решении вопроса о походе обещал просить вдохновения

(prosić o natchnienie) у Господа Бога, или как это объявил он потом — выступить в день своего патрона, Св. Яна.

В таких совещаниях уплыла целая неделя, а между тем полученные из Украины и от Киселя из Гоши письма возвещали близкую грозу.

Не смотря на унижительный прием королевских комиссаров со стороны Хмеля, Ян Казимир отправил к нему секретаря переяславской комиссии, Смяровского.

Иначе относился к бунтовщику шляхетский народ, каков бы ни был он, — не так как «возвышенный духом и благородный умом» избранник правительствующих панов. Его взгляд на Хмельницкого сохранился в популярном тогда и сохраненном для потомства стихотворении, в котором говорится, что легче было бы терпеть «вечный и невознаградимый срам от иноземного неприятеля, чем от такого презренного сора, как Хмель, и это да близость Польши к порабощению хлопами всего больнее для нации».

Snacby znosniejsza od nieprzyjaciela  
Ponisc szwank taki; ale, ze od Chmiela  
Smieci wzgardzonej, — to najwiecej boli,  
To, ze i chlopskiej blizcysmy niewoli.

Смяровский выехал из Варшавы под хорошим

предзнаменованием, — в день Благовещения Пресвятой Девы Марии (in ipso die Annuntiationis V. Mariae), но, по причине опасностей и дурной дороги, достиг Чигирина едва в три недели.

Хмельницкий был далеко надменнее (daleko wiekszej nadetosci), нежели во время Переяславской комиссии. Принял он королевского посла самым недостойным образом (indignissime go excepit), — как последнего мужика (vilissimum de plebe hominem). Когда подали Хмелю королевский лист, он швырнул его писарю через стол, так что лист упал на землю (az na ziemie upadl). В то же самое время принимал он (писал Смяровский) московского и венгерского послов торжественно (pompatice), с кавалькадой, с военной музыкой, и носился слух (распущенный самим Хмельницким), что Москва дала ему 20.000 своего войска. У Смяровского были отобраны все кони, а челядь его была изрублена. Но при этом Смяровский — что весьма характеристично нашел себе двух покровителей между казаками, да еще таких, которые сообщали ему копии писем своего гетмана к султан-калге, к Периаш-аге, Караш-мурзе, и помогали доставлять его депеши в Варшаву. Скоро, однакож, Варшава узнала, что он погиб жертвою своей ловкости. Казацкий батько не нашел другого средства обеспечить свои секреты в предательской среде своей, как истребить соблазнителя.

Памятником существования Смяровского осталось поздно высказанное им убеждение, — что тот был бы глуп, кто бы осмелился ехать в это пекло (*kto by sie w to pieklo odwazyl*): «ибо колеса уже так разбежались, что каждый должен здесь погибнуть». И его собственный приезд удивил Хмельницкого, потому что чернь была крайне раздражена потерей Бара и битвой под Межибожем, а сам он (доносил Смяровский) «только и дышет, что яростью да мезтью (*on sam intus nisi furerem et vindictam spirat*)».

По словам Смяровского, Хмельницкий ежедневно и ежечасно переменал свои мысли (*in dies et horas singulas mutatur*). Если иногда подавал некоторую надежду на мир, то через час делался так непохож на самого себя, как непохожа ночь на день (*w godzine odmieni sie jako noc ode dnia*).

Последнее известие пана Смяровского было таково: что, по словам Хмельницкого, мир невозможен, а должна «стена удариться об стену, и одна — обвалиться, а другая остаться (*az sie sciana z sciana uderzy, a jedna sie obali, druga zostanie*)». Он звал к себе татар не только на добычу, но и на то, чтоб «до конца вигубить поколение и имя ляшеское».

Пугали Польшу и вести, полученные из Подольского Камянца. Оттуда Каменецкий каштелян, Станислав Лянцкоронский, писал

Оссолинскому, что Хмельницкий прислал туркам через татар вечное подданство, с тем, что он побусурманится со всеми казаками, лишь бы только помогли ему истребить польское имя. Татары и греки представляли туркам, что Хмельницкий завоевал уже Польшу по Белую Воду; за Белой Водой осталось Польши только немножко: он хочет завоевать в этом году и остаток.

Под влиянием страха, бискупы-сенаторы говорили в государственном совете:

«Напрасно думают, что король его милость идет воевать с холопами: это не хлопы, а воины, страшные самому цесарю оттоманскому». — «Не за подданство уже теперь воевать нам» (прибавляли другие), «а за Божию кривду, за святой сакрамент, за костелы», и, забывая, что сами с папою да с иезуитами наделали жару, норовили загребать его чужими руками. «Добрый кавалер» (говорили бискупы) «не спрашивает, сколько неприятеля и какой неприятель, а спрашивает: где он? (*qualis sil et quis sit, sed ubi est*)»?

Тут же патриоты, желавшие, чтобы жолнер воевал за них в долг, рассказывали, какое множество невольников навезли татары в Царьград сушей и морем: за один де лук или за десяток стрел дают пленника; а пленниками были не только богоненавистные схизматики, не только богоугодные католики, но и те, которых молитвы

властны освободить грешники из чистилища: видали в Царьграде и на невольничьих рынках капланов, которые внушали своим зрителям сострадание больше всего тем, что «привыкли ко всевозможным удобствам жизни».

Много было новостей, занимавших членов королевской рады, но все до одной были печального свойства. Например: из Турции так идут к Хмельницкому, что под Добруджей и болгарами ни в одном селе не осталось ни одного хозяина: все пошло в Орду против ляхов, и жители обоих берегов Дуная двинулись поголовно в казацкие купы; а один шпион доносил из Украины, что Хмель сменил многих полковников, узнав от ворожки, что им не будет уже «счастить казацкая доля». Себя он считал *фортуннейшим*.

Когда наступила Зеленая Неделя, последний срок заключенного в Переяславе перемирия с казаками, король повелел своему триумvirату соединить войско и приблизиться к неприятельским займищам, не ожидая соединения Хмеля с ханом.

Тремя полководцами у него, как уже сказано выше, были: Андрей из Дубровицы, Фирлей, старый воин и опытный вождь, но постоянно хворавший и дряхлый, Станислав Лянцкоронский, отважный боец, как и его дед, предводительствовавший неомужиченными еще казаками, но плохой полководец, и граф Николай



Остророг, охарактеризовавший себя готовностью отдаться на милость пилявецким героям, казакам и татарам. Достоинно, однакож, замечания, что генерал, вообразивший после пилявецкой паники все потерянным, начальствовал под Пилявцами авангардом действующей армии. Еще замечательнее, что при составлении повторенного триумвирата, не могли никем заменить его; а всего замечательнее, что в новой кампании Остророг вел себя, если не прямым героем, то и не слабодушным воином.

Фирлей с своей стороны показал, что в его немощном теле работал дух бодрый. Он, вместе с Лянцкоронским, выбрал позицию для генерального лагеря весьма удачно и защищал ее с великим искусством. Король и коронный канцлер указывали им на Новый Константинов; но Остророг, в письме из-под Збаража, от 3 июля, оправдывал сделанный его товарищами выбор разумными соображениями, и этим доказал, что князь Вишневецкий не напрасно поднял его во Львове из упадка.

Заняв боевую позицию, триумвиры нашли необходимым опереться на мужество, популярность и боевые средства Вишневецкого, у которого, к удовольствию мудрого на всякое зло Хмеля, Ян Казимир взял из рук булаву, вверенную ему теми людьми, которые оказались мужественнее гетманов, назначенных сеймом. Естественно, что

Вишневецкий, за этот глупый и наглый поступок, воспылал презрительным негодованием и к самому королю, и к его советникам. Сперва он решился было не вмешиваться в толпу людей, которых, очевидно, судьба обрекла на гибель, так как они потеряли общий человеческий смысл. Потом ему стало жаль своей семьи, своих верных слуг-соратников, и, может быть, своей славы, неразлучной со славой падающего уже отечества. Он созвал под свой щит, кого мог, и держался в поле особняком, подобно тем «безупречным и знаменитым Геркулесам», которые «стояли на границах, как мужественные львы, и жаждали только кровавой беседы с неверными». К нему присоединился племянник его, носивший имя славного Дмитрия Вишневецкого Байды, и бывший соперник его в колонизационной борьбе за Хороль и Гадяч, Александр Конецпольский. Ему вверил свое ополчение и князь Доминик Заславский, а брат его Гризельды, молодой Ян Замойский, находясь под его опекой, был естественным его союзником. «Поднимается страшная буря, наступают времена роковые» (писал князь Иеремия в универсале к шляхте). «Уже король выдал, как говорят, вторые *вици* (оповещения) на посполитое рушение; о третьих еще не слышно, но отечество в крайнем положении: надобно спешить»....

Как и в прошлую кампанию, Вишневецкий

намеревался стоять особняком; но Лянцкоронский ездил в его лагерь и упросил присоединиться к генеральному лагерю.

Лянцкоронскому Речь Посполитая была обязана защитой Камянца Подольского: этот подвиг высоко ценил наш Байдич, равно как и то, что он побил хмельничан под Межибожем.

По реляции Остророга, все простонародье между Богом, Горынью и Случью обратилось в мятежников, лишь только коронное войско удалилось оттуда.

Повторилось то, что было в Украине после Корсунщины: добыча панского плуга сделалась добычею казацкого меча, как это изображено в современном стихотворении:

Zeszly z pol wszystkie po Nadbozu plugi;  
Nie obejrzał sie aż za Wilsa drugi.<sup>1</sup>

А между тем жолнеры требовали своего жолду, и не только иностранцы, но и поляки не хотели «воевать в долг». От этого малочисленное войско триумвиров с каждым днем уменьшалось. И пахолки, и самое товарищество разъезжались

---

<sup>1</sup> Исчезли с полей все плуги по Надбожию: иной оглянулся назад только из-за Вислы.

из-под хоругвей, так что от некоторых оставалось только по половине и еще меньше. Когда посылали их на подъезд, хоругви соглашались идти только сам-пять. По мнению Остророга, против этого зла было только одно лекарство (*remedium*) — возможно скорая присылка денег. Замедленное чем-то наступление Хмельницкого приписывал он божественному Промыслу. «Опять и опять (*iterum et iterum*) просим прислать нам деньги» (писал Остророг к Оссолинскому): «а то войска этого немного останется. Не ласками и не строгостями возможно удержать его на службе, а только деньгами. В лошадях у нас большой недостаток от беспрестанных чат, а купить не за что. Шпиона весьма трудно найти: между этой русью все предатели. А добудешь казака, — хоть сожги его, правды не скажет, так что нам надобно ждать отовсюду непредвиденной беды, не без великой опасности столь уменьшившегося войска (*insperatum malum undique, non sine grandi periculo tam diminuti exercitus*)»).

Эти слова тем замечательнее, что оказались верным предсказанием под пером человека, еще недавно совсем было потерявшегося. «Единственное против этого средство» (повторял он *iterum et iterum*) — «поддержать здесь нас деньгами».

При таком хозяйничанье польских скарбовых

людей и вообще правительственных представителей Польши, не только такие мученики их несостоятельности, как великие полководцы Жовковский и Конецпольский, являются истинными героями долга и чести, но даже и рядовые жолнеры. Это были честные воины, зависевшие от жидовского кагала панов-доматоров. И вот почему князь Вишневецкий, вдруг «потерявший все, что имел», как о нем говорили во Львове, своим отважным стояньем против опаснейшего из врагов отечества — предателя, бунтовщика и поджигателя Хмеля — вселял безграничную к себе преданность в благородные сердца, которых, увы! всегда и везде бывало мало.

Пока не прибыл он к Збаражу, в генеральном лагере происходила сумятица, подобная сеймовой польской, или нашей вечевой древнерусской: гетманы не ладили между собой; жолнеры не повиновались гетманам; войска, способного к бою, осталось всего 6,000. Но когда к этому войску прибавилось 3.000 панских дружин под командою любимца полководца, все вдруг переменилось. Забывая о сейме и короле, восторженные жолнеры, по вдохновению минуты, провозгласили князя Вишневецкого главнокомандующим. Увлечлись порывом благородного чувства и региментари: отвергнутому королем гетману была предложена булава; а войско, еще недавно разбежавшееся из-за

недоплаченного жолда, вызвалось служить ему две четверти бесплатно. Но Вишневецкий булавы не принял, и скромно стал в ряду полковников; Эта немая демонстрация против короля соединила с ним еще теснее все сердца.

Збаражское войско видело в нем своего главнокомандующего; его советы принимались, как повеления; нарушить его план действия боялся каждый.

Теперь в генеральном лагере насчитывали 15.000 людей; но пехоты у панов было только 2.000. Всадники были готовы и на пешую службу под начальством Вишневецкого. Красноречиво было простое слово его, когда он, объезжая полки, требовал безусловного повиновения, точно импровизированный император, и вспоминал о Пилявцах, где все дело было погублено от неурядицы.

Его требование было голосом каждого разумного сердца: ему внимали, как поэту боевого стоянья.

Неприятель приближался медленно, с бесчисленными толпами соблазненной и запуганной черни, с бесчисленными толпами крымских, ногайских и других наездников. Некоторые казацкие полки состояли из 20.000 душ. Татарами предводительствовал сам хан, Ислам-Гирей, который «правил своим конем

хорошо», у которого «между ним и неверными была только сабля», как заявлял он туркам при своем воцарении, и который готов был обманывать своих союзников так точно, как и неприятелей».

Окрестные мужики не были соблазнены добычею и запуганы казако-татарским террором, а потому, в числе 6.000, ушли к мещанам в Збараж, под защиту панского войска.

Положение приютившихся под Збаражем панов было безнадежнее того, в каком находился царь Наливай под Лубнами. Они сознавали вполне, что им грозит, но решились, как бы в искупление пилявецкого бегства — или остановить казако-татарские орды, или погибнуть, как это заявил старый Фирлей в прощальном письме к королю.

Он уверял, что неприятель пройдет во внутренность отечества только по головам защитников Збаража. От упадка духа, в виду наступающих сотен тысяч варваров, спасала панов только надежда, что король скоро придет к ним на выручку с посполитым рушением, которого двою вици они уже читали. Но эта надежда сделалась весьма сомнительною после того, когда их многократные предостережения и просьбы о помощи не вызвали у короля и коронного канцлера никаких обещаний. Лянцкоронский писал к полковнику королевской гвардии, Минору, что

можно было бы назвать сумасшедшим того, кто бы отважился приблизиться к Збаражу с помощью в несколько сотен и даже в несколько тысяч воинов.

Хмельницкому были известны не только боевые средства защитников Збаража, но и все, что делают столичные патриоты. Его казаки давали себя сжечь, сохраняя войсковую тайну, но тайны своих противников узнавал он не только от захваченных в плен жолнеров, не только от болтливой шляхты, но и от варшавских панов, таких же предателей по природе и воспитанию, каким был он сам. Имея всюду подкупленных панскими же деньгами доброжелателей, он мог осведомиться даже и о том, что целая половина панского войска, вписанного в *компут*, находилась неизвестно где; что волонтеры бродили по всему государству и опустошали беззащитные имения своих сограждан, а правители государства, вместо того, чтобы поддержать армию контингентами, «искали только, на кого бы взвалить вину», как это поставил Кисель на вид своим соотечественникам, в письме к Оссолинскому от 23 (13) июля. Хмельницкий пользовался панским разномыслием и отдельностью панских интересов с самого начала своего бунта. Судьба, казалось, готовила ему и на сей раз Корсунь да Пилявцы. По словам Фирлея в последнем, возможном еще донесении королю, он думал, что паны бежали или готовы бежать из-под



Збаража, а потому ускорил свое медленное сперва наступление, и 6 июля (27 июня) был уже в пяти милях от них. В генеральном лагере ждали его через два дня.

Вишневецкий более нежели кто-либо из его сподвижников понимал, как трудно подать Збаражскому войску скорую помощь. Он лучше нежели кто-либо знал, что имеет дело с противником, столь же беспощадным в холодной хитрости, как и в разъяренном бешенстве. Но бурный дух нашего Байдича, вооружавший руку его против сеймующего панства, проявился теперь в твердой решимости бороться с дикою силою всеми своими средствами. Решимость его поддерживала крепкая позиция, занятая триумвирами под Збаражем.

Збараж был окружен в то время водами, топями и лесами, которые более или менее исчезли в течение двух сот сорока лет. Эти, как говорилось тогда, фортели прикрывали панский лагерь от многочисленного неприятеля, а взгорья и байраки, окружавшие родовое гнездо русских некогда князей Збаражских, способствовали вылазкам и обеспечивали пашу для лошадей.

Черный лес тянулся тогда до дороги из Жалозиц. Между нею и дорогою, идущею из Вишневца, дубовые леса с востока шли до самих Люблянок, а с юга все окрестности Зарудья,

Валаховки, Стрыевки и Кротович были перерезаны множеством озер и топей.

Грязистая почва не благоприятствовала движениям татарских и казацких наездников, тогда как у панской конницы на склонах окопов было довольно места для обороны.

Город Збараж, окруженный водою с трех сторон, помещался как бы в глубине подковы. С востока и запада обороняли его два озера, соединенные с юга речкою Гнезною. Отверстие подковы, обращенное к северо-западу и глядевшее на Жалощицы, было укреплено рвом и тыном. Плечи подковы с востока продолжали взгорья, а с запада — черный лес, так что жалощицкою дорогой можно было приблизиться к городу.

На другом берегу Гнезны, с востока, возвышался на взгорье сильный замок Збаражских, здание величественное, построенное в 1587 году, а между ним и восточным озером лежало предместье Пригородок.

К югу от города и замка волнистая почва представляла высоту, удобную для помещения всех ожидаемых подкреплений. Начальник артиллерии, Криштоф Пршиемский, получивший образование во французской армии, расположил становище соответственно не сбывшимся ожиданиям. Тын панского лагеря прилегал к городу и замку, и только одну часть его, выходящую сзади за

восточное озеро, предполагалось обезопасить валом. Скаредная медлительность худших представителей Польши заставила лучших переиначивать свою диспозицию под напором неприятеля.

Вечером того же дня, когда Вишневецкий въехал в генеральный лагерь, вернулся подъезд, состоявший из 15 хоругвей, и донес, что под Човганским Камнем, в пяти милях от Збаража, встретил неприятеля и ведет его за собою. Язык из Гадяча, захваченный подъездом, объявил о великой казако-татарской силе. И рядовые жолнеры, и полководцы лично бросились к заступам да лопатам, как это было, полстолетия с небольшим, назад, в лагере Яна Замойского на Цецоре, где малочисленное польское войско отсиделось в окопах от многочисленных азиатцев. Скоро старые окопы были восстановлены, и каждый отдел войска занял свою позицию. Войско было разделено на пять частей, под начальством пяти дивизионных полководцев: Фирлея, Лянцкоронского, Остророга, Вишневецкого и Конецпольского.

Июля 10 (1), в субботу, появился казако-татарский авангард. Ему надобно было осмотреть неприятельскую позицию и суеверно попытаться счастья. Первый удар предвещал казакам и татарам удачу и неудачу войны.

Панское войско вышло за окопы и

построилось в боевой порядок, В это самое время к Збаражу приближался небольшой возовой табор Вишневецкого, заключающий в себе 200 пехотинцев и 200 легко вооруженных всадников. Казаки и татары окружили его, как на Желтых Водах Стефана Потоцкого. Но здесь не было изменников драгун. На выручку подоспел Вишневецкий и первый поздоровался с варварами. Казако-татарский авангард охватил его своими крыльями; но на него ударили гусары; он разлетелся в мелкие купы гарцовников, — и возовой табор вступил в окопы при громе пушек. «Сам Господь принес к нам этого человека» (пишет автор осадного дневника о Вишневецком): «он спасал нас и советом и мужеством».

Татары, служившие в это время казацкую службу панам, сражались храбро против своих соплеменников, помогавших казакам, так что в первом столкновении с неприятелем под Збаражем легло их на месте более сотни. Они выходили против ханских гарцовников, разделившись на мелкие части, сперва втроем, потом вчетвером, потом вдвоем, а потом уже бросались целою чатою.

Гарцовники, отступая, облетели весь лагерь издали, а между тем наступали новые и новые массы. Они сгущались на горизонте целый день и продолжали наступать по заходе солнца. Теплая и тихая ночь глухо звучала в ушах осажденных

сотнями тысяч голосов.

Чтоб ободрить войско, князь Вишневецкий задал пир офицерам в замке. Гости пили под звуки труб и литавр. Пушки и мортиры гремели в ответ на голоса, долетавшие в окопы с поля. Вишневецкий вселял во всех бодрость и веселым видом, и своею речью, которою наставлял младших, как они должны действовать на умы прочих жолнеров...

Увы! он указывал на самое бесчестное и вредоносное для Польши дело поляков, как на самое достохвальное и в настоящем случае вдохновительное: он пробуждал в своих соратниках боевой энтузиазм двухлетним сиденьем польских соотечественников своих в сердце России, Москве, двухлетним спором за нее с Московским Царством.

Воспитанник иезуитов не нашел в польской истории лучшей страницы и теперь, стоя мужественно против диких руинников, которые вторгнулись в недра цивилизованного государства, восхвалял таких же руинников, терзавших соседнее государство по указанию панских клеветов. Римскою логикой своею, он побивал соотечественников своих, в конечном результате больше, чем хищные варвары — огнем и железом.

Казаки и татары расположились полукружием, символическим строем последователей Магомета, намекавшим на священный для них полумесяц. В полдень

следующего дня, загремел наш Хмель 30-ю гарматами своими, и необозримые массы казако-татарского войска двинулись на приступ, как бы с намерением растоптать осажденных в один прием. Они подняли страшный крик, которым казаки и татары всегда сопровождали свои приступы. Но это была фальшивая атака: Хмельницкому надобно было только взвесить силу панского отпора. Однакож тех, которые не бывали в боях с варварами и не знали, что большая часть хмельничан была вооружена дубьем, дикий крик необозримой толпы поразил ужасом. Участвовавшие в походе ксендзы вышли с процессией, давали всем желающим опресночный сакрамент и, по выражению дневника, отрезвили боязливых. Тем не менее густая пальба делала свое дело.

«В этот день» (говорит автор дневника) «у нас в лагере было больше пуль, нежели во Львовском повете куриных яиц. Некоторые из региментарей, видя простреленными свои палатки и множество падающих людей, начали было теряться; но князь Вишневецкий поддержал войско своим примером, так что Хмельницкий, обещавший хану ночевать в нашем лагере, должен был отступить со стыдом».

В понедельник 12 (2) июля подошли остальные казацкие полки с возовым табором и распожились в четверти мили от панского лагеря,

заняв целую милю своим становищем.

Ночью насыпали казаки три шанца, вооруженные 40 пушками, и открыли пальбу на рассвете. Но казацкие пушкарки больше гремели, нежели вредили своему неприятелю.

Хмель не успел на вербовать пушкарей, которых бы стоило, по примеру царя Наливая, приковывать к пушкам.

Во вторник 13 (3) июля начался общий приступ, один из самых страшных: правое крыло, где стоял Вишневецкий, отразило нападающих скоро. Но левое, напротив стоянок Фирлея, колебалось между гибелью и спасением. По словам дневника, региментари совещались уже о бегстве в замок (*consilia juz były usiekac do zamku*), и войско спаслось от паники только благодаря тому, что Вишневецкий, отразив у себя нападение, подкрепил вовремя Фирлея. С величайшими усилиями удалось панам сбить хмельничан с валов. В это время Марк Собеский выскочил за валы с отрядом конницы и ударил на бегущих сбоку. Множество казаков потонуло в озере; но кому посчастливилось выбраться на сушу, те снова лезли на валы в слепой завзятости.

Наконец Хмельницкий велел трубить отступление. Панские хоругви преследовали бегущих, взяли один из казацких шанцев и овладели несколькими *прикметами*, как называли

казаки свои знамена и бунчуки.

Между тем со стороны восточного озера грозила панам великая опасность. Были там еще недоконченные окопы с весьма слабым прикрытием. Ударил на них полковник Бурлий, обойдя незаметно во время приступа правое крыло. Венгерская пехота, оборонявшая то место, начала бежать, и Бурлий мог бы оттуда вторгнуться в становище Фирлея. Но опасность была замечена вовремя. Пршиемский убил собственноручно венгерского знаменщика, выхватил у него знамя и повел пехоту на Бурлия. Казаки, вторгнувшиеся в лагерь, были истреблены, и Бурлий отступил. Он отступил в порядке, но ему было теперь трудно обойти целое крыло панского лагеря, чтобы соединиться с казацкими полками. Хмельницкий послал ему на выручку Морозенка с казацкою конницей; но едва они сошлись, как заступила им дорогу дивизия Конецпольского. Здесь Александр Конецпольский смыл с себя пятно бегства из-под Пилявцев. Бешено бились казаки с паном, на которого батько их взваливал вину всего замешательства. Наконец Бурлий, знаменитый морскими походами своими, пал вместе со множеством товарищей своего покушения; а Морозенка выручили татары.

Дорого стоили казакам их завзятые приступы. В озере потонуло их столько, что осажденные не



могли больше пользоваться речной водою, и рыли себе колодцы.

Казацкий труп лежал местами высотой в человеческий рост.

Героем этого страшного для панов дня был Вишневецкий: без него здесь повторилась бы Корсунщина. С самого появления своего под Збаражем и до конца грозной осады, он подвизался с тем умением возбуждать в своих соратниках чувство чести или ярости, которое делало невозможное возможным и сверхчеловеческое обыкновенным. За ним шли в огонь те хоругви, которые поворачивали уже к бегству.

При нем не страшно было умереть. Его слова, его движения действовали на изнемогших и отчаявшихся в успехе, как волшебство. Геройское бесстрашие и казацкая выносливость знаменитого колонизатора отдаленнейших малорусских пустынь делали смелыми воинами шляхетных трусов и превращали в спартанцев изнеженных панят. Теперь казаки переменили свое мнение о ляхах, которые «умирают от страха» при виде их побратимов, татар; а татары переменили мнение о «казацком счастье» и о фортуности казацкого баяна, тем более, что в это время над Припятью, между знаменитою по Наливайку, Речицею и Петриковичами, литовское войско разбило полковника Кричевского, перебило и потопило в

Припети 28.000 казаков, а остальных 5.000 держало в тесной осаде.

Но в опасных боях 13 июля паны удостоверились, что в таком обширном лагере нельзя им оборониться. Опять принялись они за ремесло могильников поголовно, помогая в работе рядовым жолнерам, пахолкам и сидевшим в Збараже мужикам. С рассветом следующего дня был у них кончен окоп, надежнейший прежнего. Они стеснили свой лагерь почти на целую треть против первоначального расположения: ту часть недоконченных валов на левом крыле, на которую всего сильнее напирали казаки, оставили, а новый окоп насыпали поближе к линии восточного озера.

Хмельницкий не отважился на повторение вчерашнего приступа, боясь уронить себя окончательно во мнении татар, которые многолюдством своим и страхом имени своего сделали его Желтоводским, Корсунским и Пилявецким победителем. Его должна была смущать весть о том, что его приятель Кричевский пал в Белоруссии от полученной в грудь раны, а предводимое им войско погибло. Блокада была более верным и менее рискованным делом. Хмельницкий начал делать к ней приготовления чрезвычайные.

Прежде всего запер он панское становище и все проходы, которыми осажденные могли бы

отступить, или доставлять ночью корм для лошадей. С этою целью занял он дорогу к Жалозицам и Вишневу, а также села Базаринцы, Залужье и Старый Збараж.

Потом построил 16 громадных машин, называвшихся гуляй-городинами, иначе штурмами, на подобие подвижных замков, на катках и колесах. Между них двигались готовые мосты для перехода рва, длинные лестницы и другие снаряды для приступа.

Напротив панских окопов казаки рыли поперечные рвы и прикрывали их землею, так чтоб оттуда можно было стрелять и делать подкопы. Этим способом придвигались они всё ближе и ближе к панскому лагерю, прикрываясь шанцами и защищая пальбою с них дальнейшую свою работу; наконец так близко подступили к панскому редуту, что могли слышать голоса осажденных.

Во время таких приготовлений не переставал Хмельницкий штурмовать осажденных ни днем, ни ночью. Но татары вовсе перестали наступать и превратились в зрителей борьбы небольшого войска с подавляющею массою. И было на что смотреть. По словам пилявецких победителей, в збаражских окопах сидели Тхоржевские да Зайончковские; на деле же татары видели тех Замойских, Жовковских, Ходковичей, Хмелецких и Конецпольских, которые были памятны их отцам и

им самим.

Хан Ислам-Гирей начал подумывать о выборе между воюющих сторон, и прислал с этой целью своего маршала, Сефер-Казы, к Вишневецкому. Они съехались в поле для переговоров. Вишневецкий уверял татар, что казаки, опершись на их помощь, отплатят за нее предательством. Татары предлагали ему мир, но князь отверг унижительные условия мира (*marszalek hanski perswadowal racem, ale toby bylo nam infame*).

Между тем Хмельницкий вел безуспешно подкопы под город, раскапывал гребли и пытался отнять у панов воду; а когда это не удалось, начал раскапывать гребельки вверху, чтобы затопить панский лагерь. Но казаки были такие же плохие гидравлики, как и пушкарки. Свое бессилие подкрепляли они криком (*krzykiem sila nadrabiali*).

14 (4) июля казацкие полковники штурмовали стоянки Вишневецкого. 16 (6) — го ночью был такой сильный приступ, что Небаба и Гладкий потеряли, как записано в дневнике, 3.000 народу. «Едва-едва не овладели казаки городом (*o maly wlos nie mieli miasia*)», писал автор дневника: «тогда бы отняли у нас и город, и воду». 17 (7-го) подошел к городу отряд полковника Федоренка. Пользуясь утреннею мглою, перешел он вал и уже начал рубить частокол, как поднялась в стане и в городе тревога. На звон колоколов и гром пушек,

двинулись отовсюду казаки к Збаражу. Но мужественный полковник Корф, предводитель рейтар, отразил нападение.

После этого паны решили — насыпать новые валы поближе к городу. Мещане и мужики работали день и ночь. Военные люди помогали им ночью, а днем отражали приступы. В течение двух дней внутри лагеря появились высокие валы.

18 (8) июля казаки, по словам дневника, сделались ласковее (*laskawszemi sie stawili*): не очень сильно наступали, только осыпали князя Вишневецкого бранью и угрозами (*tylko mu lajali a grozili*).

19 (9) июля казаки целый день стреляли из шанца, устроенного ими в прежних стоянках Фирлея, а ночью двинулись на приступ. Гуляй-городины пришли в движение; казаки лезли на валы слепо. На стоянки Вишневецкого напирали так бешено, что некоторые региментари опять совещались о бегстве в замок; но Вишневецкий не согласился на это ни под каким видом. Вдруг полился такой сильный дождь и сделалась такая буря, что казаки были принуждены отступить. Вода залила шанцы, лилась ручьями в прикрытые землею рвы, в апроши, и скоро смешала все в одну страшную лужу. Казаки с трудом увезли свои гарматы и аммуницию, а гуляй-городины остались посреди пустого пространства, затопленного

местами на 5 шагов глубины.

Кзаки могли оставить при своих машинах только небольшое прикрытие. Для Вишневецкого это прикрытие было препятствием ничтожным. Он выбрал 500 жолнеров, послал их с зажигательными снарядами под гуляй-городины и сам стоял с обнаженною саблею, а к региментарям послал наказ, «чтобы не думали о бегстве в город». Захваченные враспloh сторожа штурмов были вырезаны, и машины Хмельницкого запылали, не смотря на продолжавшийся дождь. Конные казаки «погнажи» пеших на оборону штурмов, но все усилия погасить огонь были напрасны.

Целость лагеря в этот опасный день жолнеры приписывали, во-первых, вмешательству Рапа Вога в дела ортодоксальных его поклонников, а во-вторых мужеству князя Вишневецкого, который делался у них героем легендарным.

Утром стали паны переходить в уменьшенное становище. Хмельницкий тотчас же занял оставленные окопы, и в наступивший вечер 20 (10) июля сделал к свежим валам приступ, который продолжался до поздней ночи. Темнота прекратила нападение.

Светом осажденные увидели себя окруженными со всех сторон высоким валом, а пальба не позволяла им показываться на своем валу. В следующее утро увидели они другой вал,

еще ближе к лагерю. Татары густо стреляли из луков, а казаки засыпали панский обоз пулями, точно градом. Наконец Хмельницкий окружил панов и третьим валом, поделал кругом высокие шанцы и стал подкапываться апрошами к самому редуту своего непобедимого неприятеля. Осажденные защищались киями, камнем, пращами и чем ни попало: они щадили порох для того, чтобы пасть не иначе, как с оружием в руках. Когда же начался огненный бой, хоругви в дыму едва различали своих, и жолнерам, в жару завзятости, казалось, что пули отскакивают от них чудесным способом (nie to bylo wziasc po boku, po lbu, a nazad cudownym sposobem odlatywaly kule bez szkody naszym). Из пилявецких трусов вдохновительный Байдич поделал казаков-характерников, которых «не брала пуля». Если бы в нашу малорусскую семью не вползли из-за спины приятелей ляхов ксендзы, теперь бы два талантливые русича вели наши силы против общего неприятеля, а не одну против другой, и никто из них не носил бы на своем челе печати братоубийцы.

В течение десяти дней ежедневно и почти ежечасно происходили казацкие приступы. Но чем сильнее напирали казаки, тем ближе представлялась панскому войску выручка. «Казаки потому так бешено рвутся в окопы» (говорил

жолнерам Вишневецкий), «что приближается король. Еще немного твердости, — и мы помстимся над свирепыми врагами». Так вызывал он в своих соратниках одно чувство за другим, точно бойцов, сменяемых для отдыха. И дороже славы, заманчивее богатой добычи, сладостнее свидания с родными, желаннее всего на свете — представлялось измученному войску чувство возмездия. Богиня Немезида, дочь Ночи, затмевала здесь бога Марса, сына блистающего молниями Зевса и светозарной Геры. Она была божеством справедливости, как понимает справедливость воин. Но истощение физических и нравственных сил доходило у жолнеров до крайности, зловещей предшественницы апатии, которая погубила войско великого Жовковского в самом горестном и самом славном его походе.

Чтобы сколько-нибудь оправиться и сделать новые укрепления, паны постановили войти с Хмельницким и с ханом в переговоры.

С казацкой стороны также чувствовалась надобность в передохе. По известию осадного дневника, весьма вероятно, у казаков под Збаражем погибло тысяч 50 народу. Хотя казаки беспощадно гоняли оказаченных мужиков на приступы, но собственные утраты их болели, как и собственные раны. Передох был им нужен и для того, чтобы потом принести тем более щедрую



жертву воинской богине справедливости, которой они поклонялись одинаково с панами.

Сперва Хмельницкий отпустил панского трубача без ответа; но на другой день, перед обедом, гарматы его умолкли, и с казацких шанцев раздался крик: «Угамуйтеся, не стреляйте, до й мы не будемо»!

Хмельницкий пожелал видеть Зацвилюховского, который несколько времени был королевским комиссаром у казаков, и которого в обычной челобитной царю о жалованье называли они гетманом. В товарищи ему дали паны молодого Киселя, новгородсеверского хорунжего. Хмельницкий говорил много о своих личных и казацких обидах, которые де вызвали все это кровопролитие.

Переговоры кончились ничем; но достойны замечания слова казацкого батька, обращенные к Зацвилюховскому: «Казав я тобі, шановний пане, що поки будеш у нас комісаровати, поти Військо Запорозьке поседить, як за батька; а тепер що буде, Бог теє знає».

Потом он убеждал Зацвилюховского остаться у него, обещая ему всякие почести (*wszelka, obserwantiam*). Но Зацвилюховский предпочел бедствовать с панами.

Этой сцене предшествовала еще одна человеческая черта казако-панской усобицы.

Когда прекратилась обоюдная пальба, паны отправили в казацкий табор трубача с письмами, в которых убеждали казаков к примирению во имя взаимных выгод и чувства долга. Но взаимные выгоды спутались уже в нераспутываемый моток взаимных недоразумений и предубеждений, а понятия о долге совсем затмились.

Московскому мечу предстояло положить конец казако-панской путанице, а царской диктатуре — обратить и казака и пана на путь общественных и государственных обязанностей. Не смысля ничего такого и не проникая в будущее разумением прошедшего, казаки остались глухи к панским убеждениям, но трубача панского приняли хорошо и наградили (*nasz trebacz dobrze przyjety, udarowany*).

В числе людей, запутавших свои счета с совестью и старавшихся новыми злодействами оправдать старые, явился здесь перед нами сын Хмельницкого и предок Мазепы по душе, Выговский. Покамест, он оправдывал свое сообщество с казаками тем, что Хмельницкий выкупил его на Желтых Водах у татар «за одну кобылу», да тем, что у него в Киевщине есть отец, братья, сестры etc. и если бы он изменил Хмельницкому, то Хмельницкий велел бы истребить все родство его. Но автор осадного дневника, называвший себя «украинцем», заметил,

что важную роль в его предательстве играет его образованность, или ум, как тогда смешивали одно с другим, и что этим преимуществом он приобрел между казаками значение (jako zawsze byl nie prostak, tak i teraz u nich swoja ma powage).

Панские переговоры с ханом также не привели ни к чему. Не хотел хан оставить казаков, как убеждали его паны. Напротив, объявил, что держит в руках панов (ma naz w garsci), что до сих пор только шутил с ними (zartowal), а завтра (27 (17) июля) вытащит всех их за чуб (za leb wszystkich wywlecze).

Паны отвечали ему: «Кто придет за нашей головой, тот принесет и свою собственную». Они поклялись лечь один за другим.

Особенного внимания заслуживает следующий эпизод казако-панского передоха.

Когда прекратилась обоюдная пальба, начался (пишет автор дневника, «украинец») congressus наших знакомых со знакомыми казаками и приятельские разговоры (rozmowy przyjacielskie). Обоюдное сожаление (compassio), что христианская кровь льется невинно. Некоторые спрашивали о домашних делах, вышедши за самый вал. «Мы угощали их табаком».

Этот мимолетный рассказ делает впечатление свежего ветерка в душливом воздухе. Взаимная злоба была не так велика и не так всеобъемлюща,

как это можно заключить по зверскому остервенению гайдамак, очутившихся на произволе своих диких страстей. Кровавый пожар, раздуваемый, по признанию Киселя, восточным и западным ветром, утихал в силу изнеможения природы человеческой, и наши православные предки вместе с предками полонизованных русичей залили бы его слезами своих жен и детей; но боги, сражавшиеся руками смертных, в ревнивом обладании своею землею, не внимали голосу человечества, и даже под громом разделившейся на ся государственной арматы, продолжали свое губительное дело.

В панском стане был смертельно ранен капитан артиллерии, то есть один из тех бойцов, которых искусству осажденные всего больше были обязаны своею целостью; но он, в качестве протестанта, признавал только небесного Бога, отрицая наместника его на земле. Министр-капельян Фирлея, также протестанта, хотел напутствовать умирающего воина в неведомую никому область, но ревнители единого пастыря душ человеческих прогнали с побоями из замка проповедника безразличной любви к нам небесного Отца («od naszych księzy wybity i wugnany z zamku», пишет «украинец»). В другое время верный слуга князя Вишневецкого пал с оружием в руках, как подобало честному воину, но он был арианин, и потому,

опровергнутый ксендзами, зарыт в самом валу, как пес.

Во время переговоров почти не было приступов. Стреляли только с шанцев и валов как бы в знак непримиримости, а в промежутках пушечного грохота перебранивались и обменивались насмешками.

Козаки гукали: «Чом, панове не загадете своїм підданім жадної роботи? Ось рік минає, літо сходить, а ще чинші та десятина з бидла не вибрана. Воли жалібно мукають: хочуть на ярмалок до Вроцлава».

— «Даємо вам пільгу в роботі» (отвечали жолнеры), «та незабаром, на ознаку тяжкої неволі, сипатимете Вишневецькому греблю через Дніпро. Чинш не заляже: вибере його військо литовське. Десятини повибирають татари, і замість бидла, жінок та дітей ваших поженуть воли до Криму».

— «Та годі вам, панове пручатись» (кричали с вала козаки): «тільки кунтуші покаляли та сорочки подрали, по шанцах лазячи. Оце вам наробило очкове та панщина, та пересуди, та сухомельщина. Гарна в вас тоді була музика, а тепер ще краще заграли вам у дудку козаки».

Но танцевали под казацкую дудку только те, которые возвели на польский престол расстригу иезуита, да те, которые вместе с ним отняли у князя Вишневецкого диктатуру. Пока длились

переговоры да перебранки, паны еще однажды сузили свои укрепления, и придвинулись непосредственно к замку. Открытую часть города, которую речка Гнезна отделяла от замка, укрепили валом и присоединили к замку рвами и окопом. Насыпали также валы от Пригородка, который составлял левое крыло, так что замок, стоя на челе лагеря, заслонял весь город: ибо Подзамче и Пригородок принадлежали к городу.

Между тем жолнеры захватили в плен хорунжего татарской гвардии Хмельницкого.

От него паны выпытали, что казаки боятся скорого прихода короля, о чем у них разнесся слух, и потому употребляют крайние меры, чтобы «кончить ляхов»; а с другой стороны (говорил хорунжий) пришли вести, что литовские войска идут в Украину; что казаки в большой тревоге за своих жен и детей, а Хмельницкий убедил хана вызвать на переговоры главных панов, с тем чтоб оставить у себя в неволе. По словам хорунжего, сам Хмель проговорился об этом спьяна.

Около того же времени 12 товарищей из-под разных хоругвей князя Вишневецкого, подкравшись к неприятельским валам, увидели троих казаков, играющих в карты, двоих убили, а третьего, Грицька из Чигирина, принадлежавшего к полку самого Хмельницкого, привели к Вишневецкому. По уверению Грицька Чигиринца,

Хмельницкий хлопотал вовсе не о том, чтобы взять панский лагерь: он только хотел вынудить у панов окуп. Говорил еще Чигиринец, что казаки боятся наступления короля, что они боятся за своих жен и детей, которых некому оборонить от Литвы, так как сюда вышли все поголовно, и что мужики начали по ночам бегать из табора. «Эта реляция» (сказано в дневнике «украинца») «поддержала отчаявшийся дух наш (u nas zdesperowane duchy posilila), и мы, как бы воскреснув, решились наступать сильнее на неприятеля фортелями».

30 (20) июля, на рассвете, начали паны переходить в новый лагерь, оставив на старом валу по 15 человек из каждой хоругви. Не успели они занять и половины нового укрепления, как хмельничане пошли на приступ. Пешие панские полки обратились на штурмующих, и так как у них не было времени заряжать ружья, то дрались прикладами и холодным оружием, пока, с великими потерями, отступили в новые окопы к самому замку.

Хмельницкий занял тотчас оставленное становище, поставил на валах пушки, и под защитой пальбы, в три часа окружил панский редут валом, наконец пришанцевался к нему на 30 шагов. Чаще и чаще делал он покушения ворваться в панский лагерь; но всякий раз его Перебийносы сталкивались в лагере с Князем Яремою, с этим

шляхетским характерником, с этим панским казаком-невмираю, которого не брала никакая пуля, который ночевал под самым валом, появлялся впереди своих бойцов при всякой тревоге и прогонял казаков-пищальников рукопашным боем.

Вообще казацкие приступы не отличались боевой силой и смелостью, а самого Хмеля никогда не видали в бою. И у царя Наливая, в десяти тысячном его таборе, Жовковский насчитывал только 2.000 добрых воинов. Пропорционально столько же было их и между казаками Хмельницкого. Часто впереди наступающих казаков гнали рогатый скот, чтоб обессилить панскую пальбу, а во время самого приступа казаки прикрывались мужиками, у которых на груди висели торбы с песком. Торбоносцы были народ, попавший между молота и наковальни. Еслиб они вздумали бежать, их ожидали казацкие списы и татарские лыки. Они лезли вперед, зажмурив глаза, как обреченные на казнь, и часто, среди крика, который поднимали казаки и татары, умоляли панов пощадить их от пальбы. «Чернь молила о милосердии (plebs o milosierdzie implorabat), поддаваясь в полное рабство», доносил в Варшаву Казановскому с похода королевский сподвижник, и это было известие справедливое. О том, что казаки загоняли на вербованных мужиков на приступ, говорится в



дневниках, как о деле повседневном.

Для того, чтобы вынудить у панов окуп, не щадили несчастных новобранцев.

Это было еще хуже со стороны Хмельницкого, чем из-за своих обид броситься с огнем и ножом на всю шляхту. Казаки-комонники, составлявшие только малую часть хмельничан, выручались и под Збаражем кровью пеших затыжцев, прозелитов казатчины, как это было под Кумейками, где они натравили завзятых на Потоцкого, и убрались прочь за добра ума. Разница была только в том, что они подстрекали мужиков к бою не словами, а копьями.

Напрасно хан вызывал Вишневецкого с первенствующими панами на переговоры: осажденные видели в этом злой умысел Хмельницкого, который присоветовал хану захватить князя Ярему в плен во время переговоров. Тогда Хмельницкий пытался подорвать осажденных подкупом. Мысль эту подали ему перехваченные письма Вишневецкого к королю. Чтобы сломить все еще бодрый дух полководца, который в его глазах стоил больше всего польского войска, Хмельницкий возвратил Вишневецкому письма с посланцом, которому поручил всучить свой универсал немцам, которым обещал за измену большой жолд и подарки. Но немцы представили его универсал Вишневецкому.

Здесь выступают перед нами два рыцаря в собственной характеристике. Краткую записку, без подписи, с перехваченными письмами, Хмельницкий адресовал князю, называя его своим приятелем, хотя и не искренним (przyjacielowi naszymu choc niezyczliwemu oddac); уведомлял князя, что посланцу его отсекали голову; уверял, что король скорее дождется к себе казаков, чем осажденные — помощи его, и заключал удивлением, что Вишневецкий не удовольствовался своим заднепровским государством, в котором казаки хотели оставить его неприкосновенным.

На грубиянскую и лживую записку Вишневецкий отвечал приличным письмом, в котором называя своего неприятеля мостивым паном гетманом, удивлялся, откуда у него такое недоброжелательство, что и посланца его приказал убить, и к нему самому не обратился с письмом приличным. Вспоминая о прошлом (писал он), «Хмельницкий имел бы много причин благодарить его за милости и благодеяния. Князь увещевал его опомниться, как доброжелатель Запорожского войска от предков. Далее выражал уверенность в могуществе короля, и писал, что не все донесения осажденных перехвачены». «И это не хорошо» (внушал он спокойно Хмельницкому), «что вы прислали универсал для возмущения иноземного войска. Между ними большая часть таких, которые

никогда не изменяли» (замечал он тоном нравственного превосходства, и возвращал универсал, «как ненужный»). «Что вы в моем заднепровском владении» (писал он далее) «не допускали опустошения, это вы сделали по надлежащему: ибо оттуда Запорожское войско получало много благодеяний, как от предков моих, так и от меня».

В заключение, Вишневецкий писал: «Не гневаюсь, что мои подданные пристали к вашему войску: вероятно, были они к тому приневолены (*musieli podobno*); но прошу не держать их при себе, а отправить домой, за что я, в свое время, буду благодарен», и подписался доброжелательным приятелем (*zyczliwy przyjaciel Her. Xze na Wisniowcu i Lubniach, wojewoda ruski*).

Теперь наступили для осажденных такие дни, что все их предшествовавшие опасности, труды и бедствия показались им только началом борьбы за свою жизнь и за воинскую честь. В распоряжениях казацкого гетмана была заметна лихорадочная поспешность, а в казацких таборах — необычайная суетливость. Начиная с 1 августа, приступ, можно сказать, не прерывался в течение нескольких суток. Шанцы Хмельницкого стояли всего в 30 шагах от панского вала. День и ночь казаки беспрестанно стреляли из своих, правда, не очень метких гармат и весьма метких «семипядных» пицалей, а на

рассвете, в полдень и в полночь штурмовали валы.

Всякий раз на приступ ходили новые, подпоенные горилкою полки, при звуках труб, с песнями и восклицаниями. Татары гнали перед собою чернь и криком *Аллах!* придавали казакам смелости. Тогда-то были кровавою действительностью дошедшие до нас кобзарские думы, в которых пьяный и опьяняющий Хмель хвалился своею завзятостью:

Та ще й Орду за собою веду,  
А все, вражі ляхи, та на вашу біду.

От многочисленных сытых и пьяных полчищ панские окопы защищала, можно сказать, горсть невыспавшихся, голодных и оборванных воинов. Малорусская историография в осадном сиденье под Збаражем не хочет признать за панами превосходство мужества. Она бесчестно называет героев загнанными в окопы трусами, для которых бегство было невозможным. Она с рабскою насмешливостью представляет воинственность осажденных одним бравурством. «Пускай-де скажут о нас: Ай да поляки!»<sup>2</sup> И однакож, этих трусов, этих тщеславных самохвалов не могло ни

---

<sup>2</sup> Костомаров, «Богдан Хмельницкий», изд. 4, стр. 106.

взять живьем, ни перебить и перестрелять стотысячное казацкое войско, вспомоществуемое всеми татарскими ордами. Одного этого факта достаточно, чтобы всяческая враждебность к воинам-колонизаторам исчезла в благородном (у кого оно есть) чувстве удивления к их доблестям в борьбе с теми, которые, как у нас пишут, восстали за свою веру, за свою честь, за свое имущество, за свою жизнь, и которых татары подгоняли к приступам нагайками. Если бы в каком-нибудь новом ордынском нашествии погибли все документы польско-русской деятельности и уцелели только свидетельства о збаражской осаде, то в отдаленном будущем по этим свидетельствам беспристрастный историк заявил бы векам грядущим, что был на свете народ, выработавший на чем-то величавую твердость духа и благородное самопожертвование.

На густую казацкую пальбу отвечали уныло замковые пушки. Но зато у панских пушкарей не пропадал ни один выстрел, тогда как гарматы казацкие часто ревели попусту. В числе панских стрелков прославился в это время один из новорожденных в малорусском Переяславе иезуитов, кзэндз Муховецкий, которого автор осадного дневника называет «нашим украинцем из Переяславского коллегиума». В Збаражском Пригородке стояла дубовая башня. С этой башни

стрелял он из своей рушницы-гульдынки и, по общему свидетельству, в течение осады убил 250 казаков. Но и прославленная гульдынка должна была скоро умолкнуть: у панов оставалось аммуниции уже только на шесть дней. В темные ночи бросали они с валов пылающие мазницы и возовые оси, чтоб осветить крадущихся казаков. Старые жолнеры говорили, что ни в какой войне не делали того, что повыдумали теперь Фирлей да Вишневецкий.

В среду 4 августа стали говорить в панском лагере, что Хмель двинулся куда-то с частью своего войска. Предполагая, что он пошел для отражения короля, князь Вишневецкий в четверг, 5 августа, сделал смелую вылазку, чтобы в этом удостовериться. Но вылазка доставила панам только 16 казацких прикмет. Захваченные вместе с тем языки говорили, что Хмель опечален потерей полковника Федоренка, которого застрелил недавно ксендз Муховецкий, когда он подводил мину под губительную башню, и что за это хочет он ударить ночью панов всеми своими силами.

Паны приготовились к ночной битве; однакож, ночь прошла без тревоги.

В пятницу, 6 августа (27 июля), в день любимого казацкого святого, Палея, на рассвете, Хмельницкий сделал общий приступ со всех сторон. Напирали в особенности на стоянки

Остророга. Появились новые гуляй-городины, из которых каждую везли на катках 15 человек. Появилось 400 лестниц, переплетенных лозой для подъемных мостов через рвы; каждую тащили на колесах 20 казаков. Начался рукопашный бой, как потому, что у панов мало было пороху, так и потому, что сабля была шляхетским оружием по преимуществу. «Грусы поляки» выдержали этот бой в течение трех часов, под прикрытием пушек, заряжаемых уже, можно сказать, последними зарядами.

Панская конница вышла за валы, и врзывалась в подвигающиеся массы. Это была та конница, которую хорошо помнили Кумейки, Сула, Старец-Днепр: одушевлял ее бурный дух Князя Яремы. Во рвах и на месте схватки лежали груды трупов на высоту копья. Не без того, что дневники знаменитого осадного сиденья и преувеличивали подвиги шляхетных бойцов; но Хмель истощил здесь последние средства к возбуждению своей орды, и должен был отступить, чтобы его мнимая сила не перешла в явное бессилие. Маскируя свою неудачу, он штурмовал панский редут в полдень и в полночь опять, но уже с меньшим жаром.

Это были последние усилия Хмельницкого подавить многолюдством тех воинов, о которых казаки пели среди новых малорусских пустынь, что *лях від страху вмирає*, давая камертон

самохвальства будущим грамотеям своим. Теперь он решился доконать панов беспрестанной стрельбой да голодом, который уже чувствовался в их стане.

В течение суток насыпали казаки 15 шанцев, высотой в два копья. На шанцах поставили из своих гуляй-городин башни, а на башнях укрепили лестницы, в виде заборов так высоко, что из-за них было удобно стрелять в панский лагерь. Шанцы были снабжены пушками и обсажены лучшими стрелками. В одном из дневников этой осады, по истине славной для панов и позорной для казаков, записано:

«Под каждую хоругвию ежедневно убивали не меньше 10 человек. Брат не смел спасти брата. Где кто был ранен, там и лежал под градом пуль до самой ночи; а где кто лёг убитый, там его ночью и хоронили».

Паны были принуждены оставить в окопах возы и перейти в замок, чтобы там быть наготове всякий раз выбегать на оборону валов и табора.

Посреди такой борьбы, заметили они 8 августа, с великим удивлением, что казацкий табор снимается с места и передвигается к Старому Збаражу, где стояла каменная церковь, построенная еще православными князьями Збаражскими. Ночью передвинулся туда весь табор, а палатки хана и казацкого гетмана, стоявшие в четверти мили от



панского лагеря, разбили под старым замком, напротив ставок Вишневецкого.

В течение следующих четырех дней шел проливной дождь. Военные действия приостановились. 13 (3) августа в стане осаждающих сделалось необычайное движение. Толпы черни валили от окопов к табору, как бы для насыпки шанцев.

Остаток табора передвинулся к старому замку.

В панском стане разнеслась радостная весть, что подкрепления стоят уже в Жалощинцах, в трех милях от Збаража, и что неприятель намерен ошанцеваться у себя в тылу. На другой день распущен был слух, что Хмельницкий двинулся со всеми силами оборонять от короля переправу в одной только миле от Збаража. Затрубили в трубы; ударили в бубны. Встревоженные казаки начали густо стрелять из пушек.

В казацком таборе происходило что-то загадочное. Видать было гетманские палатки и бунчуки: знак, что Хмельницкий находился в таборе. Между тем пушки молчали, точно их вовсе не было. Казацкие полки куда-то девались. Из шанцев стреляли только изредка. Едва местами было видать понемногу орды и мужиков, которые подкапывались под панские валы и сражались цепами да пращами.

День проходил за днем. Процесс загона мужиков на битву продолжался даже и тогда, когда пушечное ядро падало в толпу загонщиков. «Моспо zaganiałi czeru ku taborowi» (писал в дневнике «украинец»). Неизвестность томила панов больше, чем приступы черни, больше, чем её подкопы под возы и голод, который появился в лагере.

Ночи проводили жолнеры, равно, как и осаждающие, то в приятельских беседах с осаждающими, то в перебранке. Казаки стращали жолнеров, что их товарищи облегли короля, а жолнеры казаков — тем, что король бьет в это время их товарищей. «Ночью» (пишет «украинец») «умолкала битва (silent arma), зато собачий рот (psia geba) говорил, что взбредет на язык, грозя продавать Орде жолнеров «по шагови» (по грошу).

Но ни в одном дневнике не записано, чтобы psia geba касалась ляшского и жидовского ругательства над церковью и верою.

Казаки сами не знали, что делается с теми, которые куда-то двинулись. Наконец стали к ним возвращаться походные возы с ранеными. Тогда все увидели, что идет сильная битва; узнали, что бьются под Зборовым, но кто кого побивает, оставалось тайною; и те полки, которые не верили в счастье Хмельницкого, отказывались идти к нему на помощь (chyba ci zostaja, co nie wierza, zeby krola oblezono).

Наибольшую силу своего разбойного гения проявил Хмельницкий в том, что сумел прервать всякое сообщение между осажденными под Збаражем и королем, которого они нетерпеливо ждали к себе на помощь. Еще 12 (2) июля Лянцкоронский писал к полковнику Минору, едва владея пером (так у него болели руки от земляной работы): «Если не прибудешь с королем скоро, то поспеешь на похороны милой братии и собственных сыновей твоих». Между тем ни к Минору и ни к кому из окружавших короля не пришло никакой вести о том, что делается в польских Фермопилах.

Хмельницкий до такой степени сжал под Збаражем и казацкую, и татарскую орду, что не выпустил за сторожевую цепь ни одного загона. О его силах Ян Казимир узнал только тогда, когда с ними неожиданно столкнулся.

Поляки до сих пор не могут объяснить поведение своего короля и канцлера. Оба они сошли в могилу заподозренные в предательстве, как люди, умышлявшие на шляхетский народ вместе с казаками. Но в чем именно состояло предательство, никто не объяснил.

Будучи еще королевичем, Ян Казимир не стесняясь говаривал, что ему приятнее смотреть на пса, чем на поляка. В этом казаки ему сочувствовали. За одно это могли они подарить ему

корону. В одном этом позволительно видеть причину злорадства, с каким, по-видимому, узнавал король о западне, в которой очутился ненавистный ему Вишневецкий.

Что касается Оссолинского, то он служил с одинаковым чувством и самому благому, и самому злому делу, если оно соответствовало тем целям, которые, по его иезуитскому воззрению, были великими. На Владиславе IV он испытал, как выгодно быть «простою глиною» в руках неумелого короля. Быть канцлером при таком беспутном потентате, как Ян Казимир, значило — заручиться его нравственной ответственностью за все свои ввешения. Так поступил он, стоя с королем под Замостьем, где умыл начисто руки в том, чтобы когда-либо не соглашался на посполитое рушение, которое тормозил из-за спины своего повелителя. Не мог он простить своим соотечественникам упорства, с каким они восстали против реформы, которая, очевидно, таилась в изобретенном им рыцарском ордене. За низведение с высоты, на которую метил он этим замыслом, он был готов отплатить им общим унижением, а между тем надеялся подняться на высоту власти со стороны противоположной.

Так ли оно было, или нет, никто не может утверждать после утайки достойным учеником иезуитов руководящей нити к разъяснению начала

Хмельнитчины. Но поведение короля и канцлера современные нам поляки находят более нежели странным.

Король выехал из Варшавы 24 (14) июня и прибыл в Люблин 3 июля, за неделю до появления под Збаражем казако-татарского авангарда. Он знал, что и султан, и хан обязались помогать Хмельницкому; знал, какими силами располагает опасный бунтовщик, но не выдал третьих вицей на посполитое рушение. Ограничился только тем, что стянул в Люблин остаток чужеземного войска, которого в запасе было еще 2.000, а коронным панам велел привести их надворные дружины. Такого вооружения, по его мнению, было достаточно.

Если не предполагать в этом злого умысла, то «благородный ум» панского избранника оказался в настоящем случае ниже всякой оценки. Ян Казимир надеялся победить Хмельницкого еще более недействительным способом, чем тот, который был панам преподан миротворцем Киселем.

Один из товарищей Хмельницкого по бунту, шляхтич Забугский, передался к панам, и король держал его при своей особе с тем, чтобы смутить Хмельницкого своим появлением на театре войны, низложить его среди Запорожского войска и вручить булаву казацкому изменнику.

Судя по поступкам королевского агента

Смяровского и даже по тому, как распорядился с ним ежедневно и ежечасно менявшийся Хмель, поляки думают, что двор имел сношения с некоторыми казацкими полковниками; а что многие из них были готовы, подобно Забугскому, предать казацкого батька, в том нет никакого сомнения.

Они могли и обещать Яну Казимиру торжественную сцену низложения «русского единовладника и самодержца», столь же им противного, как противна была панам всякая диктатура. Но итальянцы сложили мудрую пословицу: «dal detto al fatto ve un gran tratto».<sup>3</sup> А время между тем уходило, и новой армии угрожала участь погибшей под Корсунем. В этом есть что-то недосказанное польской историографией: чувствуется какая-то утайка от истории.

Яну Казимиру в Люблине, пожалуй, мог присниться сон Владислава IV.

Венецианский посол Контарини уведомил его о страшном поражении турок и склонял, точно второй Тьеполо, к Турецкой войне. Ян Казимир мог вообразить казаков своим авангардом, татар — арьергардом, а Мария Гонзага, с которой он разыгрывал перед публикой влюбленную чету, посадила бы его на престоле Палеологов так же

---

<sup>3</sup> От сказанного до сделанного большое расстояние.

успешно, как готова была посадить и первого супруга. Кто ошибался в Хмельницком еще грубее Владислава, в том позволительно предполагать самые дикие мечтания.

Ян Казимир сидел да сидел в Люблине, а дни за днями уходили да уходили, и каждый из них уносил из мира живых цвет польско-русского воинства под Збаражем. Об этом король не знал, а, пожалуй, и не хотел знать. Если одному воспитаннику иезуитов, для какой-то, без сомнения, благой в его мыслях цели, было позволительно обнажить меч среди законодателей Польши, то другому, для такой же, или даже лучшей цели, не вменялось в непростительный грех погубить представителей исполнительной власти, и тем очистить себе казако-татарский путь к обладанию Востоком. Политическое развращение Польши шло *crescendo*, как смертоносный недуг, а Ян Казимир, в этом смысле, не оставался ни у кого позади.

Наконец было получено громкое известие, что Збараж обложен казако-татарскими ордами. У короля набралось всего 7.000 жолнеров, да было у него три ничтожные пушки. Великий монарх повелел литовскому полевому гетману, Янушу Радивилу, немедленно двинуться в Украину и овладеть «казацким гнездом», Киевом, а с своей стороны обещал ему поспешить под Збараж и занимать бунтовщика увеличенными силами.

Казалось бы, надлежало немедленно объявить посполитое рушение; но король третьей оповесткой отсрочил его на 11 августа и потребовал к себе немедленно посполитаков только трех воеводств: Русского, Бельзского и Люблинского, потребовал русских, но не польских землевладельцев.

17 июля, в то время когда в густой утренней мгле казаки рубили частокол и едва не овладели Збаражем, двинулся король из Люблина, предоставив главное начальство над войском канцлеру Оссолинскому, причем возвел его, к огорчению военных людей, в звание генералиссимуса; что опять говорит изучающему историю или о крайней глупости Яна Казимира, или о чем-то похуже.

21 июля после того, как проливной дождь, вместе с бурей, «как бы чудом», спас осажденных от гибели, остановился король под Замостьем. Никакой вести не приходило к нему из-под Збаража. Разосланных шпионов нельзя было заставить никакими наградами дойти до самого Збаража. Характерник Хмель очертил себя громадным кругом, и на всем его пространстве сделал Воынь для короля немою, как были немы для Николая Потоцкого Дикие Поля.

Про королевский поход один из приближенных к королю писал к министру двора, Казановскому, что денег на regiment королевской



гвардии, на немцев поморского воеводы, Вейера, и на фурманов «не дают»; что в переходах — неурядица: «смех и только»!... и, наконец, что шляхта, прибывшая в Замостье, метит отчасти уйти к Висле (*drudzy sie ku Wisle maja*). Были и такие, которые представляли короля бдительным и деятельным вождем, не щадившим себя в походе; но эти хвалы уничтожаются их же похвалою, что он отправляет не только королевские обязанности (*munia*), но и гетманские: отсюда-то и выходил «только смех».

Войска все еще было не больше 7.000, с тремя жалкими пушками. Пришло известие, что вместе с Хмельницким воюет и хан; но этому не вполне верили. Все-таки убедили короля потребовать к себе посполитаков немедленно. Но посполитаки замедляли королевский поход поджиданием замешкавшихся дома, а те, в свою очередь, «спешили медленно», полагая, что дело кончится одними сборами.

Вести продолжали приходить к медлительному войску, но не согласовались между собой. Одни говорили, что Вишневецкий сделал вылазку и положил трупом 40.000 казаков; другие, что хан прибыл к ним с 20.000 татар. Наконец, и привезенный в Сокаль шляхтич, очевидец трех приступов под Збаражем, не мог сказать ничего верного ни о хане, ни о числе татар. В тот же день

привели двух ногайцев, но они оказались крайне глупыми и могли только сказать, что вся Орда воюет вместе с Хмельницким.

Через несколько дней, когда король стоял под Сокалем, привели лучших языков, которые показали, что хан под Збаражем, что казаки подкапываются под обоз и прикопались так близко, что с вала на вал долетел бы брошенный камень.

На основании этих вестей, король созвал тайный военный совет в сокальском монастыре Бернардинов, для решения вопроса: дожидаться ли здесь посполитого рушения, или идти далее? Все были того мнения, что идти на выручку с малочисленным войском крайне опасно; но король постановил — идти: не верил он, чтоб у Хмельницкого было много татар, так как не видать нигде загонов; а канцлер-генералиссимус пророчил, что один слух о прибытии короля паразит бунтовщиков, и русские города вышлют к нему посланцов с покорностью. Из Литвы доносили, как о факте верном, что князь Радивил идет с литовским войском к Киеву, и уже спустил по Днепру байдаками пехоту. Известия, добываемые от пленников, становились все благоприятнее. Хотя некоторые уверяли, что хан со всеми ордами находится под Збаражем, но им не верили: всем хотелось верить, что татары вернулись помогать султану, а Хмель будет просить о помиловании. На

беду, привели еще казака, который показал, что у Хмельницкого войска немного, и что все казаки в тревоге от слухов о походе Радивила. Король и его генералиссимус торжествовали, превзойдя один другого в понимании дела.

Так уходил день за днем. Вести становились все многочисленнее и между собой несогласнее. Король продолжал медлительный поход; но все подумывали: не лучше ли было бы вернуться на свои следы?

Хмельницкий держал казацкие и татарские орды точно как бы в блокаде; отпускал татарам корм из собственного табора, а тем чатам, которыми себя окружил, как цепью, не дозволил никаких сношений с главным своим войском и табором под Збаражем.

Немало помогала ему в его замысле и ненависть местных мужиков к жолнерам. Мало того, что нельзя было добыть у них никакого известия, они окружали королевское войско постоянным предательством. Привозя съестные припасы в лагерь, мужики разведывали обо всем, что можно было узнать, и тотчас уведомляли казаков. В случае подозрения и улики в шпионстве, они терпели всякие муки, но ляхам правды не открывали. Волынская почва была подготовлена для Хмельнитчины Косинщиной и Наливайщиной, так точно как украинская — Жмайловщиной,

Тарасовщиной и Павлюковщиной.

Наконец, под Топоровым явился в королевских палатках попрошайка, худой, до крайности изнуренный, и подал письма от полководцев из-под Збаража. Это был отважный панцирный товарищ, Ян Скршетуский, посланный Фирлеем к королю.

Переpravясь ночью через озеро, залегал он в камыше, ползал в зарослях, бродил *мановцами*, тонул в болотах, и таким образом ускользнул от соглядатаев Хмельницкого.

Осажденные писали, что уже обороняются в городе и замке, питаются конским мясом, половина лошадей околела у них, пороху хватает не больше как на три дня, а множество жолнеров умирает от одной бессонницы. Они просили помощи и уведомяли, что больше трех дней не выдержат. К этому прибавляли, что на честный мир нет никакой надежды (*honestae pacis nulla spes*), и что Хмель намерен быть обладателем всей Польши. Поэтому молили об одной милости: прислать им пороху, чтобы, в случае если помощь опоздает, они могли пасть, как подобает воинам с оружием в руках.

В этих последних словах нам слышится голос Вишневецкого, голос его предков русичей: «Станем крепко, не посраим земли русской. Мертвые срама не имут. Лучше быть изрубленными, нежели полоненными». Решимостью пасть с оружием в

руках, пилявецкие беглецы смыли с себя пятно, наложенное на них двусмысленными советами Киселей, и одно то, что между ними были Скршетуские, возвышает их национальное достоинство в нашем русском воззрении, как бы они ни называли свою нацию.

Это было последнее, уже не повторившееся известие о Збараже. У короля, во время его медлительного похода, войско выросло до 25,000. Но сравнительно с казако-татарскою силою, которую открыл ему великодушный панцирный товарищ, 25.000 сборной дружины представляли силу ничтожную.

Есть основание думать, что король не решился сперва идти вперед и хотел было отступить. Прямой путь к Збаражу лежал ему на Броды. Вместо Брод, король пошел под Белый Камень. Там войско простояло четыре дня по причине постоянной слякоти.

Во время остановки, мысли Яна Казимира, или Оссолинского, переменились. Это видно из универсалов, разосланных к мужикам, чтоб они оставили Хмельницкого.

Король обещал им прощение, милости и прежние вольности. Такие же универсалы были разосланы и по городам. Премудрый канцлер вместе с премудрым королем сулили расказаковавшейся черни журавля в небе, который

не стоил ни одной из синиц, попадавших в её руки по милости казацкого батька. Они прощали те преступления, за которые Хмель награждал. Они обещали какие-то прежние вольности, не гарантируя ничем обещания, тогда как вольности казацкие были обеспечены повсеместным изгнанием панов из их жилищ и самим истреблением их замков и домов.

Еще несообразнее с положением дел было торжественное низложение под Белым Камнем Хмельницкого и провозглашение гетманом Запорожского войска Забугского, со вручением ему гетманской булавы. Малорусская наша пословица гласит: «до булавы треба головы», а кто ее сам не имеет, тот и в других не видит. Скупая на талантливые головы фортуна уделила их в это время всей Польше и всей Польской Руси только две: одна продолжала удерживать за панами Збараж как бы сверхъестественною сплюю; другая двинулась навстречу королю совершенно для него неведомо.

Король и его генералиссимус решились идти под Збараж: решимость благородная; но она произошла не из того источника, на который, по окончании войны, указывал во Львове королевский духовник и проповедник, Цеклинский. Он уверял собравшееся в иезуитском костёле зборовское и збаражское рыцарство, будто бы Ян Казимир и

Оссолинский предпочли явную гибель тем подозрениям, которые на них тяготели по извету злых языков, и при этом поставил их на одной высоте с Вишневецким.

Здесь он прибегнул к наглой, истинно иезуитской уловке: стал доказывать перед своими слушателями несправедливость людских толков, что будто бы князь Вишневецкий старался в мутной воде поймать гетманскую булаву. Так точно де и на короля с его досточтимым канцлером злоумышленные языки возверзали всякого рода хулы. Но теперь де все три героя доблести и чести опровергли общественное мнение столь же достохвальными подвигами *зборовскими*, как и *збаражскими*.

Иезуитам свойственно смешивать высокое с низким, и пороки возводить в добродетели. Но дело в том, что 12 августа привели к королю пленного татарина, который уверил короля и канцлера, что Хмельницкий, узнав об их приближении, отступил от Збаража. С радостью приняли они желанное известие и бодро шествовали разделить с осажденными славу одоления супостатов. По-малорусски это называется: «не говівши, не болівши, пасочки з'їсти».

Когда король приблизился к Злочову, другой татарский язык, человек знатный из ногайской орды, говорил королю откровенно, что хан охотнее

бы держался королевской, чем казацкой стороны; «а я» (заметил он), «видя королевское войско, не понимаю, каким способом король может устоять против такой силы». Он советовал писать немедленно к хану. Но его советом пренебрегли, чтобы последовать ему тогда, когда испортили уже дело.

13 (3) августа, в пятницу вечером, король остановился в полумиле от местечка Зборова, в селе Млиновцах, над рекой Стырною. В субботу было предположено сделать в Зборове два моста, на место унесенных недавно половодьем. В воскресенье войско должно было переправиться через Стырну на противоположную местечку сторону, а в понедельник идти на Озерную к Тернополю, вблизи которого находился несчастный Збараж.

Река Стырна, протекая с севера на юг, впадает под Млиновцами в длинное озеро, загибающееся далее к востоку. В самом изгибе вытекает она из озера, и там, по обоим берегам реки, лежит местечко Зборов, принадлежавшее тогда Собиским. И под Млиновцами, и под Зборовым протекала она низинами среди обширных, болотистых лугов. Дорога через низины была поднята плотинами, которые во время слякоти превращались в невылазные топи.

Так случилось и в это бедственное время. В



течение пяти дней перед приходом короля шел беспрестанный дождь. Вода размывала плотины и снесла в местечке мосты. Но другого места для переправы не было.

Генерал артиллерии, Артишевский, поседелый в голландской и в американской службе воин, целый день в субботу исправлял плотины, делал мосты, как не известно откуда разнеслась по лагерю весть, что неприятель находится близко, и сделал в нескольких местах засады. Немедленно был послан подъезд под начальством опытных офицеров. Но Хмельницкий, предвидя рекогносцировку, спрятался с ханом так искусно, что на пространстве трех миль не было найдено никаких следов засады.

Король спокойно сделал распоряжение в переправе, намереваясь расположиться завтра ночевать с обозом по другую сторону местечка и двинуться в понедельник далее. Если над походом Яна Казимира смеялись приближенные люди, то можно вообразить, как усмехался наш усатый кот, сторожа издали глупую мышь, направлявшуюся к его когтям.

Давно уже он знал королевский маршрут, и потому-то заблаговременно перенес татарское становище и свои таборы с фронта Збаража на запад, в ту сторону, с которой приближался король. Он заслонился Старым Збаражем так, что мог в

любой момента выступить навстречу королевскому войску со всеми своими силами и совершенно скрыть свой поход от осажденных. Он окружил их шанцами, оставил немного стрелков и несколько мужицких ополчений с кольями, да цепами, отправил незаметно пушки и, приготовивши все таким образом, бросился в субботу с небольшим отрядом к Зборову на рекогносцировку.

По дороге между Збаражем и Зборовым, справа от Озерной стоял тогда дубовый лес. С высокого дуба видны были Хмельницкому королевские хоругви, а зборовские мещане были уже им куплены, или запуганы. Они приготовили для татар проводников, хорошо знавших переправы. В уме Хмельницкого составился план битвы.

Вернувшись под Збараж, выслал он татарские орды на всю ночь к Зборову с провожатыми мужиками. Между Озерной и Зборовым растет и поныне ветвистый терновник. Он заслонит от короля приближающееся войско. Стоя за этой заслоной, татары ждали условленного звона Зборовских колоколов, дающего знать, что войско начало переправляться.

## **Глава XXII**

***Битва под Зборовым. — Бесславный для казаков  
и для панов мир. — Печальное освобождение от  
осады. — Малорусский народ проклинает  
казацкого батька. — Разращение народа  
казатчиною.***

В воскресенье 15 (5) августа (в день Успения Богородицы по католическому календарю), с утра погода была туманная. Шел мелкий дождик, моросило.

Королевский авангард прошел через местечко, и находился уже на дороге, ведущей к Озерной. За ним двинулась пехота и конница, а за конницей должны были идти возы.

Хоругвям краковского воеводы, Любомирского, было приказано стоять в арьергарде и не двигаться с места, пока не переправятся все скарбовые возы и пушки. Медленно шла переправа, по причине грязной и тесной дороги. Войско растянулось на целую милю. Передовые стражи находились уже в полумиле от Зборова и его мостов, а посполитаки Львовского и Перемышльского поветов с 1.500 ополченцами Любомирского, под начальством князя Корецкого и со множеством возов, еще не двинувшихся с места, заняли такое же пространство на противоположной стороне реки Стырны.

Тревога началась тем, что в тылу табора

поднялась какая-то суматоха, с таким криком, что множество людей, вместо того чтоб идти в порядке дальше, останавливались и задерживали идущих сзади. В это время в обеих половинах местечка стали звонить колокола, как бы на богослужение, и вестовщики дали королю знать о приближении неприятеля.

Король спешил построить уже переправившееся войско, постоянно прибывавшее из-за реки. Он думал, что будет иметь дело с небольшим отрядом. Но казаки и татары, одновременно с прибытием вестников, стали выходить из заслоны по всей линии от Мстенёва по дороге на Озерную. Татары здесь играли главную роль. Они шли сперва раскидисто, потом больше и больше сгущались, наконец составили сплошную массу и наступили двумя *сакмами*, по 50.000 каждая. Одна сакма остановилась перед панским фронтом; другая бросилась к Мстенёву, чтоб ударить с тыла на возы и на их защитников.

Услыхав об Орде, возницы и челядь, занимавшие самую средину растянувшегося войска, побросали на мостах и плотине возы, бежали куда попало и загромоздили дорогу так, что сообщение между двумя половинами войска было прервано. Одна часть возов оставила уже за собой местечко; другая громоздилась на мостах и на плотине.

Князь Корецкий, находясь в тылу дальше

всех, подался к Мстенёву и не давал татарам перейти за Стырну. Но татар было так много, что Корецкий отступил к обозу.

На выручку ему бросились посполитаки Львовского и Перемышльского поветов, а также каштеляны сендомирский, заславский, литовский подканцлер Лев Казимир Сопига, паны Корняхт, Фелициан Тишкович, племянник Оссолинского, Балдуин и князь Четвертинский со своими дружинами; но все они были побиты (rogomieni), а Балдуин Оссолинский, Тишкович и князь Четвертинский (член Переяславской комиссии) легли на месте.

Исчисляю всех их по свежей реляции другого члена Переяславской комиссии, Мясковского, как людей, готовых стоять грудью за свою землю, но имевших несчастье попасть в руки безголового правительства.

В этом бою погибли две хоругви Сопиги с двумя сотнями его пехоты и драгун (продолжает Мясковский). Столько же пало людей и у Корняхта. Львовский повет силился задержать на себе Орду, но попал точно в западню (говорит Мясковский).

Набили и насили татары множество товарищества, знатных особ и сановников, и ротмистров. Полковник и полковое знамя были взяты, почти весь полк истреблен, львовские и перемышльские возы оторваны. Хоругви

сендомирского каштеляна и Оссолинского легли трупом. Погиб и обозный королевского войска Чернецкий, брат знаменитого в последствии Стефана Чернецкого. Кто мог, все бежали к Зборовской переправе; но возы так ее загромоздили, что конному полку трудно было пробиться вперед. Орда наступала по следам бегущих, не брала полона и рубила с плеча.

Остановило ее только расхищение панского добра, находившегося в походных «скарбовых» возах.

Обороняя добро свое, погибло и здесь множество знатных людей, в числе которых возбуждал особенное сожаление павший костьми вместе с четырьмя хоругвями своими Станислав Речицкий (имя русское), урядовский староста, опытный воин времен Владислава IV, говоривший по-персидски, арабски, турецки и татарски. При защите возов, по официальному дневнику, погибло не меньше 1.000 человек. Остальные добрались таки до местечка, которое обороняла пехота, а к мостам не допустили татар нагроможденные возы, «что послужило к спасению короля и всего войска» (пишут поляки).

В то самое время, когда одна татарская сакма переходила Стырну, другая наступала на короля с долины. Здесь наш земляк Артишевский пригодился панам знанием военного дела, —

пригодился настолько, насколько король и его генералиссимус не мешали ему своим главенством. С левой стороны заслонил он королевское войско непроходимым озером, с правой — долинами и байраками, едва возможными для перехода пешком. В тылу находилось местечко, а мосты были защищены возами и пехотою. Неприятель не мог ни окружить войска, ни развернуть перед ним своего фронта. В голове королевской армии стояла иноземная пехота Губальта; правым крылом командовал подольский воевода, Станислав Потоцкий, знакомый с Павлюком, Скиданом, Острияницею, Кудрею, Пештою, Гунею; левым — Юрий Любомирский; Краковский «генерал-староста».

Сперва татары «грасовали» по всему полю в рассыпную; вдруг сбились в густую тучу и грянули на правое крыло. Потоцкий встретил их огнем и не двинулся с места под их напором. Тогда часть Орды, под начальством Артимира-бея, обогнув голову королевского войска, ударила на левое крыло. Генерал-староста не выдержал удара.

Страх охватил чисто-польскую шляхту. Король три раза возвращал отступающих мольбами и угрозами; три раза отбрасывал их бурным напором Артимира-бей. Наконец подоспели две гусарские хоругви и королевские рейтары. Рейтары стояли против азиатских наездников непоколебимо,

а между тем майор Гиза, с двумя компаниями пехоты, повернувшись фронтом к левому крылу, открыл по татарам непрерывную пальбу, а генерал Артишевский разил Орду из пушек. Сколько раз ни бросалась она за отступающими поляками, боковой огонь заставлял ее опомниться.

С утра до вечернего благовеста отбивалось таким образом королевское войско от ханского. Под звон вечернего благовеста татары отступили в поле на три стадии от боевища и стали кормить лошадей. Теперь куда бы ни двинулось королевское войско, всюду ждал его неприятель.

Король потерял в этот день, как пишут не менее 2.000 человек, заслуживавших лучшей участи под начальством лучшего полководца. Сборное войско показало значительную силу стойкости. До булавы недоставало только головы. Наш столько же даровитый, как и коварный Хмель, не обнажив еще сабли, одною сметливостью своею побил цвет королевского войска.

Вечером было видать панам, как у татарского и у казацкого ханов разбивали палатки в полумиле от королевского лагеря. Король расставил крепкие стражи, велел жолнерам стоять всю ночь под оружием, насыпать окопы и разобрать мосты на Стырне.

Не сходя с коней, стали совещаться, что делать далее. Артишевский вспомнил свою старину



и утверждал, что занятая войсками позиция дает возможность обороняться от 400.000 варваров. Боевая фантазия разыгралась в нем до такой степени, что он вызывался довести короля и войско до Збаража. Это показывает нам, что были в польско-русском обществе силы, рвавшие из-под гнилого правительственного состава к мужественному выбору между честною смертью и бесчестною жизнью. Но эти силы были, можно сказать, погублены королевско-канцелярскими проволочками и порядками. В настоящем положении дел благородная решимость наших Артишевских сделала бы не более того, что могло сделать великодушное мужество наших Вишневецких. Малолюдное сравнительно панское войско само пришло в широко расставленные неприятельские руки. В Зборове ли, или в Збараже, рано ли, или поздно, но Чигиринский мурлыка сделал бы над варшавскою мышью свой цап-царап.

Поняла теперь это безрассудная мышь, и вспомнила о пренебреженном совете ногайца — разъединить Хмельницкого с Ислам-Гиреем. Было уже поздно прибегать к этому средству, но лучше поздно, нежели никогда. Лучше поступиться хану всем, что позволяет и чего не позволяет национальная честь, нежели очутиться в беспощадных лапах казацкого батька, заявившего мысль о панованье над всей Польшей.

Паны находили невозможным выдержать блокаду ни по месту, ни по запасам.

Явилась было у них мысль — провести короля тайно из обоза, чтоб он стал во главе посполитого рушения, которое было уже в дороге, — опасная мысль, напоминавшая *resumere vires* Киселя, который находился тут же, как неизбежное зло панских совещаний. С этой ли стороны, показалась она панам неудобно-исполнимою, или, может быть, с той, что в таком случае они лишили бы себя возможности выбраться из западни посредством своего готового на все избранника, — неизвестно; только было предпочтено написать от его имени к хану.

В освобождении Ислам-Гирея из польского плена важную роль играл Владислав IV.

Опираясь на благодеяние покойного брата, Ян Казимир обещал хану свою дружбу и незаплаченный гарач, который называл подарками. С этим письмом тотчас отправили того самого ногайца, который давал благой совет еще под Злочовым.

Ночь была тихая. Но войско волновал слух о намерении короля и панов уйти из лагеря. Не умели в погибающем панском государстве сохранить и настолько тайны, насколько между хмельничанами хранили ее мужики. Зная по бегству из-под Пилявцев, к чему способны люди, стоявшие в

Польше на высоте знатности, два ротмистра, представители польской национальности, Белжецкий и Гидзинский, упредили предательство предательским бегством, а третий, которого называют Литвином, взбунтовал больше тысячи человек, объявляя, что короля нет уже в лагере. Одни стали готовиться к бегству; другие бросились к королевским палаткам, чтоб узнать правду.

Иезуит Цецишевский, тот самый, который умудрился возвести губителей Польши на одну высоту с её спасителем, разбудил короля и, вероятно, научил, что делать. Ян Казимир верхом, при свете факелов, объезжал войско, останавливался перед каждым полком и произносил: «Не бегите вы от меня; я от вас верно не уйду».

Провожавшие короля паны принялись рассказывать шляхте турусы на колесах, — что посполитое рушение приближается с огромными силами; что татары хотят оставить казаков и вырубили их множество под Збаражем, а завтра соединятся с королем и т. п. Такие убеждения, вместе с невозможностью бежать между постов окружившего их неприятеля, остановили панику, готовую обнять все панское войско.

Радивил в своем дневнике пишет: «Только милость Божия да предстательство Пресвятой Девы, польской королевы, сделали то, что в день её

вознесения на небо наше королевство не погибло».

Между тем подоспело из-под Збаража войско Хмельницкого, в числе 150.000, как писали тогда в дневниках и в реляциях. Рано утром казаки, вместе с татарами, начали приступ к Зборову. 50.000 штурмовали город со стороны переправы, где был разобран мост на Стырне и стояла половина возов. Орда расположилась против центра королевского войска, которое король построил в том же порядке, как и вчера, а остальные казаки лезли на лагерные валы со стороны озера.

Шляхта, напуганная событиями вчерашнего дня и миновавшей ночи, утратила отвагу, и только артиллерия да пехота отражали татар, которые теперь напирала слабо. Хуже шло дело со стороны переправы и озера. Драгуны, оборонявшие город, не могли выдержать натиска. Гарнизон, засевший в церкви, был выбит, и казаки двинулись оттуда на валы. Полковнику Гладко му помогали мещане, зажигая солому в более слабых местах. Король ездил без шляпы по всему лагерю, и умолял шляхту защищать валы. Эта позорная для неё сцена сменилась еще более позорною.

Многочисленная шляхетская челядь, созванная королевским гетманом Забугским, импровизировала себе полотняные знамена, сделала вылазку, отразила татар, отняла у казаков три прикмета, выбила их из трех шанцев и прогнала за

переправу; а другая купа той же челяди, под начальством иезуита Лисицкого, погибшего тут же в битве, бросилась на казаков Гладкого, которые поставили в садах две пушки и причиняли шляхте много потерь. Смелых людей поддержали две сотни драгун. Потеряв две прикметы, Гладкий убрался из садов. Эти внезапные нападения так озадачили казаков, что они удалились даже из церкви, оставив на месте несколько пушек и возов с аммуницией. Королевское войско приободрилось, и была даже речь о том, чтобы, посадив челядь на шляхетских коней, дать неприятелю битву в поле. Но интерес боевой импровизации состоит в том, что челядь, почти вся русская, шла против казатчины за панов, и что люди православные, как это было и в Павлюковщину, наступали на православных под командой иезуита.

Тем не менее битва шла, хоть и вяло, но томительно, и конец её не предвещал добра. После четырех часов тяжелой и унижительной борьбы короля за корону, а панов за панованье, прискакал от хана гонец с ответом на королевское письмо. Это письмо сделалось известным публике в переиначенном виде, и представляло короля таким героем, какими являются наши казаки в поддельных документах, в измышленных сказаниях летописцев и в основанных на них исторических монографиях.

Что касается ответа Гиреева, то, титулуя себя «по милости Божией счастливым и милосердным», хан объявлял, что пришел зимовать в эти края и, поручив себя Господу Богу, останется здесь на зиму гостем. Если король желает переговорить с гостем и другом, то пускай вышлет своего визиря, а он вышлет своего.

Вместе с ответом, прислал он и условия своей дружбы, а именно: 1) удовлетворить Запорожское войско; 2) уплатить недоплаченный гарач с какою-нибудь значительною прибавкою; 3) предоставить Орде право — на возвратном пути воевать польские владения вправо и влево огнем и мечом.

Тут же с ханским письмом подали королю письмо и от другого по милости Божией счастливого и милосердного воина, Богдана Хмельницкого. Этот пел ту самую песню, но на собственный, на казацкий лад, именно — молил о прощении, запуская панам и королю свои когти в сердце, если только оно имелось у короля. Покамест он выражал готовность уступить булаву Забугскому, лишь только его королевская милость благоволит выслать его в Запорожское войско. На языке действительности это значило, что кости нового гетмана, с обломками торжественно врученной ему под Белым Камнем булавы, полетят в лицо королю так точно, как полетело через стол

королевское письмо, привезенное в Чигирин Смяровским.

Но всеподданнейшая и униженнейшая петиция Хмельницкого интересна в самом складе своем: она изображает казацкого батька перед потомством лучше всех портретов.

«Видит Господь Бог» (писал он), «что я, будучи низайшим подножком найяснейшего маестата вашей королевской милости, и родившись урожденным (то есть шляхетным) Хмельницким, до сих пожилых лет моих, не был ни в каком бунте против маестата вашей королевской милости, милостивого моего пана. Это показывает моя верная служба еще вместе с славной памяти покойным родителем моим, Михаилом Хмельницким, Чигиринским подстаростием, который на службе святой памяти отца вашей королевской милости, как и всей Речи Посполитой, положил свою голову на Цецаре, где я находился при покойном отце моем и претерпел тяжкий двухлетний плен.

Когда меня Господь Бог благоволил освободить из этой неволи, я всегда пребывал верноподданным при войске Речи Посполитой, и теперь свидетельствуюсь Богом, что был бы очень рад, чтобы христианская кровь больше не лилась. А что ваша королевская милость в панском писанье своем (к хану) благоволите считать меня, подножка

своего, за какого-то бунтовщика, о чем и мысли у меня нет, и знаю хорошо, что это на меня клеветают, то благоволите, ваша королевская милость, по своему панскому благоволению, взвесить своим высоким и милосердным рассудком и милостиво выслушать тех панов, которых множество там при особе вашей королевской милости, как они засудили меня безвинно, и какое зло испытал я от их милостей панов державцев украинских. Не от гордости, а от великих бед моих, будучи изгнанником из собственной отчизны моей и из убогих добр моих, поневоле должен был я приникнуть (*przygarnac się*) и упасть к ногам великого царя его милости крымского, чтоб он привел меня к милостивому благоволению вашей королевской милости, моего милостивого пана. Хотя так оно должно было сделаться, что за виновных и невинные души должны были отвечать, но, пускай судит Господь Бог, кто тому причиною»...

Не вполне надеясь на успех своего смиренства, Хмельницкий воспользовался настоящим случаем, чтобы заподозрить короля перед его республикой, если не в готовности, то в возможности опереться на казаков. Иезуитское послание свое заключил он следующими словами:

«Хорошо знаю, что, по благоволению вашей королевской милости, я был бы оставлен



невредимым; но, знаю о том, что паны державцы украинные вашей королевской милости мало в чем обращают внимание на вашу королевскую милость, и каждый из них сам себя называет королем, уверен, что не только не стали бы терпеть меня в панстве вашей королевской милости, но и душу мою тотчас возьмут. Ведь и с войском Запорожским всегда, и в начале счастливого избрания вашей королевской милости на это панство, очень о том старался, и теперь того желаю, чтоб вы были могущественнейшим паном в Польской Короне, нежели святой памяти отец и брат вашей королевской милости. Поэтому, не веря ничему (в толках), что вы — невольник Речи Посполитой, я буду держаться того пана, который милостиво, по Божию милосердию, держит меня под своей опекой».

Бесстыдное письмо убийцы Смяровского и нескольких посланцев Адама Киселя показалось отвратительным даже и тому, кто выдал особу, рисковавшую собой для его освобождения из французской тюрьмы. Письменного ответа на него не последовало, а хану отписали, что король готов прислать канцлера на назначенное место.

Перед заходом солнца стража донесла, что визирь выехал в поле и ждет канцлера.

Канцлер отправился к нему в 60 лошадей. Ему сопутствовали киевский воевода, Адам Кисель, и

литовский подканцлер, Лев Казимир Сопига.

Милосердый хан стоял на своих условиях так твердо под Зборовым, как плакавший Хмель на своих — под Львовом. Оба счастливые и милосердые по милости Божией злодея, произнеся жестокий приговор, не смягчали его ничем. Только перед началом совещаний послал визирь казакам приказ — прекратить приступы, а татарам — съехать с поля. Согласясь в принципе на все требования хана, Оссолинский съехался с визирем в поле на другой день утром для определения подробностей.

Из условий пощады самым тяжким и унижительным для себя пунктом поляки находили тот, в котором король обязался платить ежегодно хану гарач; мы находим беспримерно унижительным не только для панов, но и для самих казаков тот, по которому хану предоставлялось право — на возвратном пути воевать огнем и мечом польские владения вправо и влево. Так думают и благородные польские умы нашего времени.

«Трудно сказать» (пишет доктор Кубаля), «какого рода была необходимость, принудившая панов к согласию предать неприятельскому огню и мечу беззащитный край. Но если можно было окупиться, если можно было тот ясыр и добычу, на которые рассчитывали татары, исчислить и заменить деньгами, но этого не сделали, а

торговали человеческою кровью, то король и его советники достойны смертельного презрения (krol i jego doradcy zasluzyli na smiertelna pogarde)».

Архидиакон иерусалимского патриарха, проезжавший по следам ясырившей Орды, говорит, что король, вместо денег, отдал ей на расхват семьдесят городов и сел. То же самое число показывает казацкий лекарь, Литвин Лукашка, прибавляя, что и провожавшие татар казаки грабили в тех городах своих единоверцев мещан. Того мало: лекарь Лукашка рассказывает, что Хмельницкий сперва ссорился с татарскою чернью за неправильность казако-татарского дувана, но что потом он послал с нею своих полковников, которые, являясь вместе с татарами под видом закупки съестных припасов, отпирали города притаившейся Орде, и что татары хватали в полон даже своих проводников и сограбителей.

По рассказу путивльца Петра Литвинова, гостившего у Хмельницкого под Збаражем и возвращавшегося с ним из Волыни, этими полковниками были Небаба и Нечай. «И назад де идучи» (доносил царским воеводам гость казацкого батька), «те Крымские татаровя взяли взятъем литовских (то есть малорусских) городов с тридцать, и тех городов в уезде уездных людей всех побили и в полон поймали».

Избиение объясняет он далее следующими

словами: «...идучи назад в Крым (татары) литовские города на Волыни и на Подолье (повоевали) и у Коломы, где соль варят, полонной поймали ж, да и белорусцов (киевских) и черкас многих поймали ж, и ведут в Крым полонну бесчисленное множество, а большаи ведут женской пол, жонок, да девок, да робят малых, а мужеск пол всех секут».

Вот чем расплатился Ян Казимир с ханом, а Богдан Хмельницкий с татарскою чернью! Малорусская историография до сих пор не упоминала даже вскользь о таких поступках своих «национальных героев», казаков. Мало того, она их перелыгала подобно тому, как это делали придворные непобедимого Яна Казимира, сочинявшие реляции о нем для Европы и переделывавшие собственные письма его «ради национальной чести», точно как будто национальная честь охраняется ложью и подлогом.

Торгуя человеческою кровью, в переговорах с ханским визирем генералиссимус Яна Казимира крепко стоял на том, что «поляки не знают слова гарач и привыкли его брать, но не давать. Совсем иное дело, *to co innego* (говорил он), если речь идет о подарках (*stipendia gratuita*), которые король обязался давать хану.

Визирь, в качестве азиатского варвара, спорил с европейскою знаменитостью не о названии, а о

самой вещи. Сверх недоимочного гарача, он требовал единовременной дани круглою цифрою 200.000 талеров, или 600.000 злотых. 30.000 талеров король должен был уплатить на месте, за другими 30.000 послать во Львов и отправить к хану *на* гонцем через Сулейман-агу, которого он оставил королю в виде заложника. За остальные 140.000 талеров — оставить в залоге у хана сокальского старосту, зятя Оссолинского, Денгофа.

Когда согласились и на этот пункт, визирь потребовал, чтоб осажденные в Збараже паны уплатили 200.000 талеров отдельного окупа, который будто бы обещали. Король, прибывший спасти своих Фермопильцев, спокойно, или злорадостно, положил такую резолюцию: «Если обещали, то пусть и дадут, а если у них денег нет, пускай дадут заложника, а я постараюсь, чтобы Речь Посполитая заплатила эту сумму». Вот каким способом принимал он к себе в геройскую троицу князя Вишневецкого! Все мы, дескать, спаслись окупом.

Но все-таки предложенных и принятых условий пощады не для чего было писать на бумаге: хан гарантировал их для себя мечом и огнем, а королю надобно было сделать из них государственную тайну из уважения к своей чести и к чести Речи Посполитой (*ze wzgledu na honor krola i Rzeczypospolitej*).

Сделавшись тайно рабом счастливых и милосердых злодеев, Ян Казимир заключил с татарами явно такой договор, который честь короля и Речи Посполитой позволяла опубликовать. Обе стороны обязывались взаимною помощью и обороною в войне с соседями. Речь Посполитая будет посылать регулярно подарки в Каменец (30.000 дукатов на кожухи). Хан обеспечивает за Хмельницким булаву и 40.000 казаков, которых никто не смеет обижать. Король предоставляет свободную пашу татарам к западу от Азова над тремя реками (Днепром, Богом и Днестром), в Диких Полях. Это значило — во всей не-городовой Украине, иначе — в Запорожье.

Подобно утопающему, Польша хваталась и за соломинку, и за бритву. Но бритвой в настоящем случае были не татары, придвинувшие свой Крымский Юрт к украинским городам, и не казаки, поступившиеся неприятелям Св. Креста своим «славным Запорожьем», а нарушение вечного мира с Московским Царством. Нарушение вечного мира явствует из наступательно оборонительного союза христиан с магометанами; но царский гонец Кунаков проведал, что, кроме писанных пунктов, был в этом явном договоре и такой, которого опубликовать не решились. Об этом секретном пункте доносил он Царской Думе (в декабре 1649 года) следующими характеристическими словами:

«Да паны ж рада меж себя советуют и рассуждая говорят, что с великим государем нашим, с его царским величеством, вечное dokonчanye не подкреплено за пьянством и за табачною торговлею великих королевских послов. А ныне же король в обозе под Зборовым поневоле вечное dokonчanye с царским величеством нарушил: позволил крымскому хану через Польское и Литовское Панство с войском ходить, куды ему будет потреба, и на том де король и присяг; и только де про то ведомо учинится царскому величеству, и по той де причине и с Московскую Сторону война».

И в другом месте: «И тое де статью королевские сенаторы и ближние люди таят и заказано про то все пакты под гарном. А у кого промыслом и иманы те Крымского и Хмельницкого пакты прочесть для ведома, и тое статьи в списках с пакт не написано. И сперва де, как под Зборовом договорились и пакты пописали, и канцлер с подлинных пакт списки послал к приятелям своим для ведомости, а тое статьи не писал».

Зная, что Польши, после этого, ничто уже спасти не могло, следует упомянуть, что пакты с ханом были спрятаны в тайном архиве; что на ближайшем сейме подтверждены они весьма

таинственно и поверхностно, <sup>4</sup> и что делопроизводитель несчастного договора, королевский секретарь Мясковский, в донесении королевичу Королю писал: «Чем и как обострили татары свои пакты, было бы трудно и долго писать.» (Очевидно, что была такая статья, о которой он писать не смел).

Счастливым по милости Божией хан явил и в том еще свое милосердие, что согласился двинуться с места прежде короля, отозвать посланные за Стырну загоны и возвратить взятых ими пленников, хотя на эту последнюю милость согласился с большим трудом.

Моливший короля о помиловании Хмель был упорнее хана. Дело ясное, что его русское самодерикавие татарский царь ограничил 40.000 казаков для собственной безопасности: ибо дружба злых, по замечанию Шекспира, переходит в боязнь, а боязнь рождает ненависть. Кунаков многое принимал на веру несообразно с историческою действительностью, открывающеюся для потомства; но в этом случае изобразил весьма правдоподобно сцену между двумя счастливыми по

---

<sup>4</sup> Именно вот как: «Skrypt do archiwum dany rationem o brony Rzeczypospolitej autoritate praesentis Conv. in toto aprobujemy do przyszlego ordynaryjnego sejmu.»



милости Божией и милосердыми людоедами.

«И учиня Крымский хан с Польским королем договор через королевского татарина, и укрепясь на договорных записях с канцлером с Юрьем Оссолинским, послал к Богдану Хмельницкому, даючи ему ведомо, на чом он с Польским королем договорился, и чтоб Хмельницкой послал к королю послов своих договариваться о статьях, что ему настоит. И Богдан де Хмельницкой приехал в полки к Крымскому хану сам с 20.000 войска, и хану говорили, что он, хан, учинил договор с королем, забыв шертъ свою, что было им ни одному, ни без одного с королем и с паны и со всею Речью Посполитою не мириться. И хан де Хмельницкому говорил, что он, Хмельницкой, не знает меры своей, хочет пана своего до конца разорить, а и так панство его исплюндровано досыть: надобно де и милость показать; он де, хан, монарха породный, узнав меру свою, с братом своим, с польским монархою, снесся в добрую згуду, и его, Хмельницкого, с паном его поеднать договаривался, как годно: а только он договариваться и еднаться с ним не будет, и он, Крымской хан, с королем на него заодно. И Богдан де Хмельницкой о том престал, и послал к королю послов своих».

В последствии, по возвращении в Украину, Хмельницкий говорил московским гостям своим,

боярскому сыну Жаденову, да площадному дьячку, Котелкину: «Не того мне хотелось, и не так бы тому и быть», а потом, подпив, заплакал, и москали заметили: «знать, что ему не добре и люб мир, что помирился с ляхами».

Но чего бы ни хотелось милостью Божиею запорожскому гетману, русскому князю, единовладнику и самодержцу, он представил королю договорные пункты свои при низкопоклонном письме, в котором, падая к милостивым ногам его королевской милости, своего милостивого пана, униженно просил простить ему, нижайшему подножку своему, грех, который де учинил он поневоле (повторение Киселевской фразы), и обещал быть верным подданным до конца живота своего. Если есть (писал он) что-нибудь оскорбительное в представляемых пунктах, то об этом усиленно просит все Запорожское войско, равно как и о том, чтобы выдан был ему изменник его, Чаплинский, которому понравилось убогое хозяйство его и который отнял у него все добра его, а самого его подверг было смертной казни у пана хорунжего. За это де и война началась (а не за веру, о которой бы здесь было время и место поговорить с ляхами). Пускай де Чаплинский будет наказан такою смертью, какую предназначал для него (Это для казацкого батька было важнее веры).

Послам Хмельницкого отвечали, что король согласится на все, что только не будет противоречить из целостности маестата и безопасности Речи Посполитой, а по вручении хану денег и пактов, стали договариваться с казаками. Результатом этого договора был акт, название которого напоминает спор Оссолинского с ханским визирем о названии гарача подарками.

Декларация королевской милости на пункты просьбы Запорожского войска заключала в себе 11 статей. Может быть, их было и больше, но подлинника Декларации в последствии никто не доискался, а в опубликованной тогда же «Привилегии русскому народу» паны солгали весьма грубо, будто бы король «больше всего своею королевскою повагою, нежели кровью, счастливо угасил внутреннее замешательство, начавшееся со времени междуцарствия». Это привело к тому, что договор с Хмельницким, равно как и договор с Ислам-Гиреем, был подтвержден на сейме лишь в общих выражениях.<sup>5</sup> Вместо договорных пунктов, польская публика читала

---

<sup>5</sup> Именно в следующих: «Poniewaz podluy konslyt: koronacy w uspokojeniu Kozakow dosyc sie stalo, tedy deklaracya laski naszej uczyniona pod Zborowem autoritate conv. praes. za zgoda wszceh stanow aprobujemy».

великодушный королевский манифест, названный привилегией *русскому народу*, под именем которого разумелись не те землевладельцы, которые сохраняли еще православную веру, не те пастыри русских душ, которые болели за нее сердцем, подобно Филиповичу, и пользовались духовными хлебами, подобно Косову да Тризне, даже не купцы и мещане, образовавшие в Малороссии городские муниципии и основавшие церковные братства, а только казаки. В манифесте было сказано, что король, снисходя к просьбе Запорожского войска, все прежние привилегии, на которые где-либо в книгах существуют крепости (*extant munimenta*), восстанавливает, и давшие вольности, в тех привилегиях дарованные Запорожскому войску, признает и подтверждает. Но в каких книгах и какие именно вольности, об этом не знал ни тот, кто составлял плутовской акт, ни те, для кого был он составлен, ни же казаки, которые много раз домогались каких-то давних прав и вольностей, но ни в одной петиции не обозначили, в чем состояли они. В королевской Привилегии русскому народу все дело сводилось к следующим словам: «А особливо утверждаем за ними (казаками) нашею привилегией то, чтоб они не были судимы нашими старостами, державцами и (их) наместниками, но во всех делах будут чинить им суд и расправу гетманы их. Зато и казаки в

замковые начальства, также в аренды, шинки, равно грунты и принадлежности, на которые давних прав не имели, вступаться не будут».

Вот и все, о чем хлопотал фиктивный русский народ королевского манифеста. В самих же пунктах «Декларации королевской милости», которые были закрыты от публики этим манифестом, — за исключением 8-го, говорится о казацких отношениях и о территории, в которой будут иметь местопребывание по обеим сторонам Днепра 40.000 казаков. Гетман Хмельницкий, которому давалось на булаву чигиринское староство (пункт 3), может во всей территории казацкого местопребывания вписать любого из королевских или шляхетских подданных в 40.000-й реестр. Каждый реестровый казак делается свободным от всяких налогов и податей (Это значило, что все украинские паны, имевшие добра в черте казачества, фактически теряли их). Гетман имеет право выбрать казака и за чертою, но тогда выбранный должен совсем переселиться в Украину, чего никто не может ему воспретить (На этом основании все мужики могли выйти в Украину, и хотя бы их потом не было в реестре, никто бы не мог выискать их и вернуть за черту).

Коронные войска в казацкой территории стоянок иметь не будут; жидов и иезуитов также там не будет (пункты 6, 7 и 8). Горилкою казаки

шинковать не будут, кроме того, что выкурят на свою надобность (пункт 11). Все должности в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском будут раздаваться шляхте религии греческой.

Относительно уничтожения унии (пункт 8) и возвращения прав и имуществ грекорусским церквам все будет постановлено на сейме, с согласия киевского митрополита, которому король дает место в сенате.

В этом пункте мы видим, что дело Киселей, Древинских, Могил, Косовых и Тризн перешло снова к ним в руки, под прикрытием сеймовых диспутов, отсрочек, бездейственных постановлений, примеры которых мы видели со времен Сигизмундовских, и что казаки, эти «единственные борцы за православную веру довольные своею реестровою да винокурением во всю меру своей надобности, не воспользовались местом и временем для того, чтобы вопрос о вере и церкви возвратить к положению до-униатскому. Но польская историография тем не менее — в общем смысле Зборовского договора видит, что Хмельницкий посредством него сделался силою, в виду которой королевская власть не значила ничего, и что шляхетская Речь Посполитая, при таком договоре, не могла существовать. В своем положении (говорит она) казацкий гетман менее

зависел от короля, нежели крымский хан — от султана: ибо власти крымского хана не обеспечивала чужеземная сила, а вера и обряд соединяли его с государством оттоманским и ставили в известную зависимость от стамбульского калифа. Должностное лицо Речи Посполитой, имеющее 40.000 войска номинально и 100.000 в действительности, с неограниченною властью над ним, такое лицо, владея булавою, которой нельзя было отнять у него без войны с Крымским Юртом, никак не могло быть фактически подданным короля и Речи Посполитой. Чтоб уравновесить его власть, Польше оставалось из республики сделаться самодержавною монархией, подобно Московскому Царству.

Самое расширение Крымского Юрта по Ворскло и Тясмин (замечу от себя) убивало только русскую идею в Малороссии, грозило Москве потерю права на вотчину её государей, но для Польши делало нашу родину таким же неодолимым ханством, как и Крымское.

Мудреные и опасные для панов переговоры с Хмельницким тянулись до сумерек.

Особенно трудно было убедить его присягнуть. Не даром он говорил царскому дворянину, Унковскому: «Целовали мы крест служить верой и правдой королю Владиславу, а теперь в Польше и Литве выбран королем Ян

Казимир. Короля мы не выбирали, не короновали и креста ему не целовали, а потому стали свободны». Теперь эта свобода исчезала юридически, да и фактически русский единовладник и самодержец делался одним из польских королей. Наконец Хмельницкий присягнул условно, сидя на коне. Присяжный лист читал ему Адам Кисель.

Когда эта формальность была исполнена, от него потребовали, чтоб он отступился от Чаплинской, которой православное венчанье при живом муже католике, очевидно, и сам Кисель считал недействительным. Хмельницкий мог бы отвечать спокойным отказом, но он чувствовал, что находится между ханом и королем, как между двумя силами, которые из-за своих выгод могут погубить его. Непредвиденная потеря дикого самодержавия мучила его до такой степени, что он обнаружил, может быть, скрываемую под покровом других обид боль своего мстительного сердца, и вскричал ревниво: «Нехай лучше король звелить утяти мени голову»!

Присягнув хранить ненарушимо Зборовский договор, Хмельницкий не соглашался никоим образом просить у короля лично прощения и присягать на верность подданства.

Поляки объясняют это упорство страхом убийства или предательства, который успокоился только после того, как послали к нему заложником



Юрия Любомирского.

Но мы, в жилах которых течет все та же кровь, которая проявила себя в этом уроде нашей малорусской семьи, позволяем себе думать, что главную здесь роль играли — презрение к избранному среди презираемых казаком «жидов», ненависть к обидчику, поставившему ничтожного Забугского наравне с ним, творцом своей фортуны, и то чувство, которое заставляет иногда разбойника бояться взгляда своей жертвы.

Как бы то ни было, утром в пятницу 20 (10) августа, Хмель наш приехал к королю с сыном в сотне лошадей. Сцену свидания кота с мышью сочинители Декларации и Привилегии описали таким образом.

Хмельницкий сошел с коня далеко от королевской палатки. Кисель ввел его в палатку. Хмельницкий бросился королю в ноги, молил о милосердии и говорил, что не таким бы способом желал бы его приветствовать.

Эти слова, если они были произнесены Хмельницким, отзываются тою демонической иронией, с которой он выражал князю Заславскому желание отдать ему поклон лично со всем Запорожским войском. Напоминают они также и его застольное слово к Жаденову и Котелкину: «Не того бы мне хотелось, и не так бы тому и быть».

Ему бы хотелось отправить его королевскую

милость, своего милостивого пана, к их милостям коронным гетманам, а с панами-«жидами» разделаться по-казацки.

По рассказу присяжных фальсификаторов, Хмельницкому отвечал Лев Казимир Сопига, что король подражает солнцу, которое всходит для добрых и злых, что он прощает его преступления и надеется, что запорожский гетман вознаградит за них цнотой и верностью. К этому фальсификаторы прибавляют, что, «поговорив с ним немного, король удалился».

Иначе рассказывали поляки Кунакову. Они присочинили, будто хан был у короля с поклоном, а вместе с ним и Хмельницкий, но тем не менее молчали о различных выдумках королевских секретарей и современных книжников: о его паденье к ногам, о его слезах, о его риторической речи, которую будто бы он произнес «с чувством своего достоинства», как прильгает от себя малорусская историография. Кунаков пишет о Хмельницком, что «едучи де Богдан Хмельницкой к королю, метал дrevком»... «и король де говорил Хмельницкому: досыть тебе быти нам неприятелем, и до ласки нашей тебя припушаем, и все вины твои тебе и всему войску Запорожскому отдаем, и тебе то годится нам и Речи Посполитой заплатить услугою своею. И Хмельницкой до короля молил: Горазд, королю, мовиш, а вежства и учтивости

никакие против тех его королевских речей всловесне и ни в чем не учинил».

Литовский канцлер Радивил прибавляет, что Хмельницкий присягнул на верность королю, сидя на стуле, и это место польский переводчик его латинских «Мемориалов» опустил, как и многое шокирующее поляков.<sup>6</sup> Слова Хмельницкого, что не таким способом желал бы он приветствовать короля, также записал Радивил, и они тоже пропущены переводчиком.

Для урегулирования правды и вымыслов, необходимо помнить, что Хмельницкий «казнил королевских послов» и сам величался этим перед московскими людьми; что после Зборовского договора, перед одними москалями он пил со слезами царское здоровье, перед другими бесновался за отказ ему в помощи, а третьим напрямик говорил, что он все, и города московские, и Москву сломает, да и тот, кто на Москве сидит, от него на Москве не отсидится.

Как бы то ни было, только казаки с досадой приостановились «варить с ляхами пиво», в

---

<sup>6</sup> Мемориалы князя Альбрехта Станислава Радивиля хранятся в Львовской библиотеке Оссолинских, и поляки, издавшие так много исторических памятников, не спешат издать вполне эту драгоценность.

котором был «ляцкий солод, казацка вода, ляцки дрова, казацки труда», — хотя и то довели Польшу до такого изнеможения, что Радивил писал в дневнике:

«Несколько сот лет уже не была Польша и ни один король в таких *терминах* как 15 августа. Едва не вернулась она гибель под Варною и те времена, когда хан (Батый) жил в Кракове 12 недель. Но и этот день будет у нас днем печали, доколе Польша будет существовать». А Мясковский прибавил к этому в частном письме: «Возвращаемся во Львов визжа, поруганные, побежденные и ободранные».

Хан сперва намеревался взять короля в плен, и Хмельницкий этого желал, как видно из упреков, которые он делал хану в 1655 году; но потом крымский наездник рассудил, что трактаты принесут ему больше пользы, и запугал своего товарища на счет короля. Он оказался практичнее обоих. Кроме славы посредника, победителя и протектора, он приобрел себе помощь для войны с Москвою, содрал богатый окуп, восстановил ежегодную дань и на возвратном пути, по выражению киевского митрополита, взял бесчисленное множество христиан. «Этот ясыр забрал он в русских областях с королевского дозволения, чего бы Хмельницкий не позволил, говорит наш современник поляк; но мы ему

ОТВЕТИМ СЛОВАМИ ПОЛЬСКОГО ПОЭТА:

Twoja dusza poczciwa zronniec nie umie,  
Le jest, piekla w obrazonej dumie.<sup>7</sup>

В тот же самый день 20 (10) августа отступил Хмельницкий вместе с ханом от Зборова и вернулся под Збараж так же незаметно для осажденных, как незаметно выступил оттуда.

Король послал вслед за ним комиссаров, львовского писаря Ожгу и полковника Минора спасти несчастных от последних разбойничьих ударов.

Осажденные не имели никакого понятия о том, что делалось в 35 верстах от них под Зборовым. Они надеялись ежедневно и ежеминутно увидеть перед собой сильное королевское войско, и не сомневались в победе посполитого рушения шляхты над казаками. Но томительное ожидание, голод и постоянная борьба с мужицкими цепами днем и ночью — мучили их не меньше, как и прежние казацкие приступы.

Несколько недель уже питались они кониной. Большая часть лошадей пала, для остальных не

---

<sup>7</sup> Твоя честная душа не может понять, сколько адского зла в оскорбленной гордости.

было корма. Околевших и убитых лошадей секли в мелкое крошево, вялили, снова секли на *бигос* и, обсыпав мукой, давали конское мясо коням. Мужиков, которые спрятались перед осадой в городе, давно выпустили. Не помиловали их казаки, и всех, с женами и детьми, в числе 4,000, отдали татарам; но те гнушались таким замороженным ясыром и вырезали его до ноги. Теперь последние 2.000 мужиков, не взирая на то, что делалось у них перед глазами, просили начальство выпустить их: так сильно томил несчастных голод. Должны были выпустить и этих, за неимением корма.

Дороговизна возросла страшно: гарнец пива стоил 2 флорина, кварта водки 20 флоринов, четверть ржи 60 фр., булка 2 фл., и то было трудно добыть. Жолнеры ели собак и кошек, а по ночам грабили возы, рвали пищу один у другого. Дрались за лошадиный корм, отнимали у челяди съестное, которое она несла своим панам на валы, так что едва не дошло до усобицы (*malo ad intestinas caedes nie przyszlo*).

Между тем оказаченные мужики подкапывались под валы к стоянкам Конецпольского и Фирлея, а так как лагерь был пуст от непрерывной пальбы с шанцев, то мужики лезли в отверстия, заставленные возами, и, побивая изнуренных жолнеров цепями, тащили к себе возы железными крючьями. Жолнеры тянули возы

посредством цепей, которыми они смыкались, и вырывали у мужиков крючья. Мужики бросали в обоз пылающие мазницы и пихали жердями к возам вязанки соломы с огнем, а воткнувши свои прикмети на внутренней стороне панских валов и овладевши всеми выходами, сидели по целым дням и ночам в панском лагере между валом и возами, с которых оборонялись осажденные. День и ночь кипела тревога, заводились драки, раздавался вызывающий крик. Ругаясь всевозможными побранками, мужики грозили панам, что будут продавать их Орде по шагу и по шелягу. Это была уже не битва, а борьба, но она изнуряла осажденных до упаду своею непрерывностью.

16 (6) августа в день Спаса, когда король оставался цел только благодаря челяди, подошел небольшой казацкий отряд к панскому лагерю, вызвал пахолка под видом вручения письма и увлек его с собою. Вечером пахолок вернулся и принес панам фальшивое письмо, которое будто бы писал Хмельницкий к своему обозному, Чорноте, из-под Озерной. Хмельницкий уведомлял своего обозного, что королевское войско разбито; что он ведет к Збаражу 500 важнейших панов и наказывает ему смотреть в оба, чтоб осажденные не ускользнули.

Когда жолнеры читали с ужасом это письмо, мужики толпились под обозом и кричали ляхам, чтобы они поклонились и поддались «пану

Хмелью», когда уж и король не устоял против него. Выстрелы, радостные восклицания и песни в казацком таборе наполняли сердца жолнеров тревогой и отчаяньем. Они, казалось, готовы были теперь опустить руки. Но на рассвете ротмистр татарской хоругви Вишневецкого принес найденную им стрелу с прилепленным к ней смолою клочком бумаги, на котором прочитали слова: «Будучи шляхтичем, хоть и поневоле среди гультайства, уведомляю ваших милостей, что король его милость находится в Зборове с весьма великою силою, и несколько раз побил Орду и казаков. Хмель в таборе, а вчерашнее торжество было для вашего страха. Держитесь осторожно нескольких дней, и даст Бог будет хорошо. Уже в третий раз предостерегаю вас».

Некоторые подозревали, что записка вымышлена; но войско тем не менее ободрилось. В последствии обнаружилось, что это была военная хитрость князя Вишневецкого, который переносит все неудобства, труды и голод наравне с простыми жолнерами, спал под валом, участвовал во всех вылазках и всего досматривал, сам не падал духом, и веселым лицом вливал надежду в сердца своих соратников.

Таким образом в обоих лагерях торжествовали: казаки, что облегли короля, а паны, что Хмель и Орда поражены королем.



В следующий день Вишневецкий схватил 10 языков. Они объявили на пытке, что король бьет казаков, так как множество раненных постоянно привозят в табор; что Хмель призвал к себе новую силу, и только перед чернью делает вид, будто облегал короля.

21 (11) августа около полудня, когда часть Орды вернулась уже под Збараж, подъехал к панскому лагерю татарин, посланный от перекопского Карач-бея, и кричал, чтоб не стреляли по казакам, потому что с королем заключен уже мир.

Когда паны размышляли об этом, казаки поставили свои гарматы над озером, и двинулись несколькими купами на валы, но их встретили такую пальбой, что они были принуждены отступить. Не хотелось кровожадному зверю расстаться с вырванной у него татарами добычею, но и последний прыжок не удался ему.

По заходе солнца, явился к Фирлею молодой шляхтич Ромашкевич, (по фамилии русин), известный своею посольскою службою покойному Конецпольскому, с письменным уведомлением, что мир заключен, и что королевские комиссары, Ожга и Минор, придут рано утром в лагерь.

Новость эта наполнила всех безумною радостью, но потом — новым страхом.

Сомневались, чтобы король вверил столь

важное дело такому молодому человеку.

Никто лично не знал его. Боялись нового коварства со стороны Хмельницкого. Почему не приехали новые комиссары? Почему засели они в неприятельском таборе и смотрят на новый казацкий приступ? Не таким воображали себе освобождение герои осадного сидения. Король знал бы цену людям, которые своим самопожертвованием остановили вторжение дикой силы во внутренние области королевства...

Региментари допрашивали Ромашкевича публично: на каких условиях заключен мир под Зборовым? Гонец сперва молчал упорно, наконец угрюмо отвечал, что это не его дело, и что комиссаров задержал у себя Хмельницкий до утра.

Скоро явился в панском обозе другой гонец, с письмом от Хмельницкого. Гетман уведомлял панов о заключенном мире и окончил свое письмо такими словами: «А как ваши милости обещали хану несколько сот тысяч, то приготовьте их. По получении денег царь отступит».

Паны отвечали Хмельницкому, что не обещали ничего, и скорее все погибнут, нежели заплатят хоть один талер.

Ромашкевич, видя, что региментари готовятся к завзятой обороне, начал рассказывать, как бились под Зборовым, какой заключили мир, и что слышал в казацком таборе.

Паны слушали его молча. От стыда и сожаления о своих напрасных страданиях, старые воины поникли головами. Гонец пересказывал им, как их враги хвалили их мужество, называя их сердитыми, и как татары ломанным языком своим издевались над королевским войском: «Под Збараж одна лях десет татар ззиж; на Зборув одна татар десет лях бере». Никого не занимали ни хвалы, ни насмешки. Известие о позорном мире наполнило панский лагерь великим горем. Жолнеры, столько раз явившие себя героями, теперь упали духом, точно на них повеяло от короля заразой себялюбивого ничтожества. Их подавляла тоска о стольких утратах, о стольких напрасных подвигах, о стольких неслыханных страданиях.

На другой день, когда прибыли Ожга и Минор, региментари объявили, что не давали никаких обещаний и ни о чем не трактовали, так как «разошлись в прелиминариях». Но хан уперся в своем требовании, и паны согласились дать ему 40.000 талеров, в счет неуплаченного окупа за Сенявского. В залог за эту сумму дали хану Потоцкого, богатого шляхтича, но не из того дома, главой которого был Николай Потоцкий.

23 августа жолнерам дозволили выходить из замка. Тогда между панским и казацким обозами появились тысячи торговых будок. Открылась ярмарка. Жолнеры покупали у казаков лошадей и

съестное. Знакомые угощались взаимно горилкою, хлебом, яблоками. Вместо боевой тревоги, поднялся шум жизни мирной. Однакож, и здесь обнаружилась казако-татарская привычка к воровству и разбою. Сперва схватывали с голов у жолнеров шапки, потом казаки нескольких совсем ограбили, а татары нескольких неосторожных увели в неволю. «Кто вмешивался в толпу, не имея знакомых» (пишет очевидец), «те попадали в беду».

Наконец 25 (15) августа с рассветом, отступил хан с торжествующею Ордою, за ним двинулись казацкие возы в несколько десятков рядов, а за ними, в полдень, Хмельницкий, окруженный татарскою гвардией своей и блестящими «казацкими признаками».

Только тогда осажденные вздохнули свободно. Отворились лагерные ворота. Толпы народу высыпали обозреть поле. Вся окрестность была изрыта вдоль и поперек. Семь больших окопов, насыпанных панами и казаками, окружало панский лагерь, из которого два хана напрасно грозили повытаскать ляхов за чубы. Окопы вокруг казацких таборов и татарских юртов, жолнерские «квартиры», шанцы, разбросанные, подобно кротовым норам, по полю, апроши, поперечные рвы и земляные верки, обломки оружия, возов, палаток, конская падаль и почетные «могилы» над людьми покрывали равнины вокруг Збаража. Везде на этих

местах кипел бой и лилась кровь.

Борьба не прерывалась более шести недель. Осажденные выдержали 20 приступов; 16 раз выходили они в поле и наступали на осажденных, 4 раза рыли и поновляли валы, редуты, рвы, 75 раз выскакивали мелкими партиями против неприятеля, и одна рука держалась иногда против сотни и больше казако-татарских. Таковы польские предания, опирающиеся на достопамятном факте, что сотни тысяч варваров не одолели девяти тысяч хорошо вооруженных и опытных в военном деле жолнеров.

Как ни величался Хмельницкий перед королевскими послами своею вечною дружбою с татарами, но никто лучше его не знал, что татары друзья опасные. Еще до прихода к Збаражу, о казацких союзниках царские люди доносили в Москву такие вести: «А татаровя стоят от казаков верстах в 10 с своими полки, и те де татаровя украдкою их, казаков, на проездах побивают, и в полон емлют, и конские стада отгоняют, и от того де казаки оберегаютца и страшатца добре, что они, татаровя, им, казаком, ставятца сильны».

Так было в самом начале Збаражского похода. По его окончании, татары являются друзьями того же самого свойства. Вестовщики доносили царю: «А шол Богдан Хмельницкой, помирясь с королем и отпустя от себя татар, в свои города з большим

опасеньем полками и с снарядом 10 дней, боясь от татар погрому, потому что татаровя, будучи нынешнего лета в Польше с черкасы вместе, многие литовские города повоевали и полон многой поймали... И для де того Хмельницкой от татар держит большое опасенье, потому что запорожские черкасы многие изнужились, и бредут назад в города свои пеши».

В момент превозносимого казацкими историками торжества Хмельницкого над ляхами, в судьбе казацкого батька сделался поворот. Не помогла ему искусственная встреча, сделанная пилявецким и львовским добычникам в Киеве. Народ, который он, аки Моисей Израиля, спасал от ляшеской неволи, встречал и провожал его песнями вроде следующей, записанной мною самим на его родине:

Ой богдай Хмеля Хмельницького  
Перва куля не минула,  
Що велів брати парубки й дівки  
І молодії молодиці!  
Парубки йдуть співаючи,  
А дівчата ридаючи,  
А молоді молодиці  
Старого Хмеля проклинаючи:  
Ой богдай Хмеля Хмельницького

Перва куля не минула!<sup>8</sup>

Проклятия несчастного народа, без всякого сомнения, долетали до ушей казацкого Моисея. Для такого сердца, какое выработали в груди нашего Хмеля иезуиты, сами по себе эти проклятия значили столько же, как для его сподвижников крик облитого горилкою и подожженного святоюрца; но этот возлюбленный сын своего украино-казацкого отечества веровал в таинственную силу слова, и погубленные им сотни тысяч земляков должны были в его уме иметь нечто общее с песнями, предающими его анафеме.

Казацкий батько еще зимою послал в Белоруссию 10.000 малорусских мужиков, под начальством Голоты, о котором кобзари поют, что он не боялся ни меча, ни огня, ни третьего — болота. По словам кобзарской думы, долетевшей до

---

<sup>8</sup> В варианте этой проклинательной песни, записанном И. П. Бущинским, автором книги «О Богдане Хмельницком», говорится:

О богдай Хмеля Хмельницького  
Перва куля не минула,  
А другая устрелила,  
У серденько уцелила!

нас из кровавой пропасти, именуемой Хмельнитчиною, Голота сводил свои подвиги к такому концу:

Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли,  
Хороші мислі мали,<sup>9</sup>  
Од мене більшу здобич здобували,  
Неприятеля під ноги топтали.

Для «хороших мыслей» Белоруссия представляла казаку Голоте еще больше простора, нежели царю Наливаю. В течение полу столетия казацкая пропаганда проникла даже к подгорским опришкам и варшавским гультаям. Города за Припетью, убежище осиротелого дома удельных князей Олельковичей от казаков и татар, вскипели теперь бунтом нетяг против людей имущественных и гулящей черни против панов. Местная шляхта покидала свои хозяйства и толпами замерзала по дорогам. Голота, как и Перебийнос, воображал уже себя вторым Хмельницким, властвуя над лучшими мужиками и мещанами посредством худших. Но весной Викентий Гонсевский, собрав гарнизоны, вытесненные казаками Голоты из городов, напал

---

<sup>9</sup> Выражение «хороші мислі мати» родственно польскому бус *dobrej fantazyi*, что означает быть смелым.



врасплох на его скопище, загнал его самого в Припеть и потопил со множеством таких же рыцарей «хороших мыслей».

С другой стороны литовский гетман Януш Радивил, с главным литовским войском, приблизился к Речице, где засел было другой мурза казацкого хана, Стецько Подобайло. Этот был послан Хмелем в Белоруссию с 10.000 свежего войска только для того, чтобы не дать Радивилу двинуться в новое «казацкое гнездо», Киев. Радивил запер его в устье Сожи над Днпром и начал громить пушечной пальбой.

На выручку Подобайла Хмельницкий двинул 300.000 лучшего казацкого войска, под начальством одного из образованных сообщников своих, шляхтича Кричевского. Но Радивил вместе с Гонсевским не дал ему соединиться с Подобайлом и, после кровопролитной битвы, окружил шанцами в такой западне, которая напомнила казакам Медвежьи Лозы. Подобайло воспользовался разъединением литво-русских сил, вырвался из тесного кута и спешил на соединение с Кривоносом, но был разбит наголову.

В то же самое время над Кричевским, кумом, приятелем и главной опорой Хмельницкого, совершилось проклятие, которое посылали ему самому татарские пленницы. Как много терял Хмель в этом сподвижнике, видно, между прочим,

из того, что простреленный пулею Кричевский был нарисован с обнаженной грудью и награвирован в «Theatrum Europaeum», издававшемся тогда во Франкфурте.

Раздраженные литво-руссy поминали своего Буйвида кровавою тризною: с войском Кричевского случилось то, что постигло завзятых казаков Наливайкова полковника Мартина под Копылом. Хмельницкий получил об этом известие незадолго перед тем, как очутился между татарским молотом и польскою наковальней под Зборовым. Проклятия, встретившие «старого Хмеля» в Украине, должны были получить в его душе зловещую выразительность.

И в глазах спасаемого им народа, и в его собственных, на его свирепом деле лежала печать Господня отвержения. Сколько в Польше, столько же и в Малороссии были недовольны заключенным в Збове миром. Растравленные прошлогодней добычей мужики шли на новую добычу по большей части теми самыми местами, в которых — или хозяйничали по-татарски сами, или предоставляли хозяйничать своим наставникам, татарам. «Поживы» в 1649 году было сравнительно мало, её искателей — сравнительно много, и эти искатели были подгоняемы к опасным битвам казацкими списками да татарскими нагайками. Множество их очутилось у татар в ясыре вместе с теми, на кого

набегали они с татарами; множество пало в битвах, которые «старинные» казаки устраивали так, чтобы казаки «охочие», затыжцы мужики и мещане, служили им прикрытием вместе с гонимым впереди скотом; остальные, как рассказывал в Москве путивлец Литвинов, «брели домой пеши изнужившись».

Оказаченные мужики были крайне недовольны подвигами Хмельницкого: обманулись они в своей надежде жить на счет ляхов, которою так восторгалась одичалая в нашей украинщине Клио. Еще меньше были ими наушники их, запорожцы, и всех меньше был удовлетворен сам казацкий батько.

«Это Москва наделала нам таких шкод!» (шумело преславное Запорожское войско).

«Когда б она послушалась на первых же порах нашего батько Богдана, давно были бы мы за Белою Водю; давно бы не было на свете ни ляха, ни жида, ни проклятой Унии!» И вот по всему московскому пограничью пошла ходить молва о том, что казаки, вместе с татарами, нагрянут к православным тем же обычаем своим, что и к неверным ляхам да люторам; а обычай де у них тот же татарской: живут они добычею, воюют из-за добычи. А теперь хан даже грозит Хмельницкому, «сослався с Польским королем и с поляки», — грозит воевать его самого, коли не пошел бы

воевать с ним государеву землю. На то де они побратимы: поклялись брат брату на сабле, Хмельницкий присягою, а хан шертью.

Так, в общих чертах, сложилось общественное мнение пограничников о збаражских и зборовских героях; а признаки враждебных замыслов видели они в том, что «конотопцы государеву землю роспахали многую, и хлеб сеели орженой и яровой, и сена покосили, и лес хоромной и дровяной и бортная деревья посекали, и межи и концы перепахали, и грани попортили», — видели в том что «по реке Суле и по реке ж по Терну черкасы из черкаского войска леса запустошили, и лошади у недрыгайловцев черкасы крадут, и дворы и гумна жгут, а от посаду Недрыгайловского всего саженех во сте поселились черкасы городком Костентиновым», — видели в том, что «дворы деревни Кулешовки поставили на государевой земле, и мельницу на речке Уси к государеве стороне и к берегу», — видели в том, что черкасы во всех пограничных городах своих «говорят не тайно» о своем намерении «итти з гетманом однолично на Московское Государство войною за то, что государь не учинил им, черкасом, ратной помочи на поляков», — наконец и в том, что казаки, вспоминая о жалованье Запорожскому войску от прежних московских государей, вознамерились наложить на Москву такой гарач, какой татары

наложили на ляхву; «а будет де ты, государь» (писали в Москву путивльские воеводы) «им, Запорожским черкасом, своего государева жалованья дать не укажешь, и ему, черкаскому гетману, Богдану Хмельницкому, с черкасы и с татары однолично итти войною на твое государево Московское Государство».

Москва смотрела на казаков Хмельницкого, как на прозелитов татарщины, и слухи о враждебности мнимых «борцов за православную веру и русскую народность» получили серьезное значение в её глазах, особенно после собрания в Царской Думе повсеместных в Украине толков о задуманном двумя ханами походе на Дон, с тем, чтобы «татаром с черкасы збить донских казаков з Дону до одного человека», и потом «Крымскому царю с Запорожскими черкасы идти войною на Московское Государство».

Действительно православное значение Москвы было для казаков последним делом.

Это в Москве знали даже по деяниям казаков Сагайдачного, восстановителя киевской митрополии. Кадры Запорожского войска состояли из шляхтичей банитов, принадлежавших не только к римским католикам и к немецким протестантам, но и к арианам. «Какие они христиане?» (говорили о москалях в данный момент казатчины кошевые и куренные витии). «У них вера царская, а не

христианская: как повелит им царь, так они и веруют». — «Коли б вони знали благочестие» (прибавляли к этому богомольные казаки), «не пустили б вони Божих церков ляхам на поталу; не дали б вони побивати нас проклятим пекельникам, бісовим ляхам та німоти. За московською підмогою, звоювали б ми і спліндрували б увесь світ; ми б в самого римського папу віддали турчинові в неволю. От би коли була наша честь, слава, військова справа! От би коли ми себе на сміх не подавали, ворогів під ноги топтали! А не схопив москаль нам помагати, ходімо з Ордою самого його воювати!»!

Что так должны были логически последовательно мудрствовать все, кого казацкий батько называл, по словам кобзарей, дитьми, друзьми, небожатами, это видно из того, что логика казакманов нашего времени не далеко ушла от подобного воззрения на порядок вещей в свете. Мы уже знаем, какими горькими сетованиями и злобными угрозами раздражался он на равнодушие Москвы к его великому предприятию. Но после припадков горя и злости опять выражал готовность «служить христианскому государю»; что, впрочем, не мешало ему возвращаться к старой казацкой теме.

Однажды, когда путивлец Василий Бурово да путивльский пушкарь Марко Антонов явились к

нему с жалобой на казацкие захваты по московскому рубежу, «начал он их бранить и называть лазутчиками: ездите де вы не для расправы, для лазутчества. А приказывал де с ними с грозами и велел нам» (писали путивльские воеводы к царю) «словесно: не токмо де, что их литовские люди твоею государевою землею за межею владеют, ждали б де мы, холопи твои, ево в себе в гости под Путивль вскоре: идет де он, гетман, войною тотчас на твое государево Московское Государство. Вы де за дубье да за пасеки говорите, а я де все — и города московские и Москву сломаю. Да и против тебя, государя, говорил он, гетман, непригожия слова: «Хто де на Москве сидит, и тот де от меня на Москве не отсидитца».

Так бесновался в своем бессилии против татар и ляхов казацкий батько, поживившись у хана, «як собака мухою», сказали б козаки-друзи. Теперь уже не было ему торжественной встречи в его столице, Киеве, наименованной так в чадю первых успехов. Он перестал быть единовладником и самодержцем русским. По своей присяге, теперь он был такой же королевский подданный, как и всякий другой казак. Хан дал ему гетманскую булаву и знамя рукою ничтожного, по гордому воззрению пилявецкого героя, жидовского короля; хан мог ее предоставить Забугскому и любому полковнику казацкому. Этого

мало: Хмельницкий очутился данником крымского хана.

Молва гласила, что гетман отсчитал ему 500.000 талеров из собственной «шкатулы»; а «що по титулі, коли нема в шкатулі»? говорит малорусская пословица. Но татарская помощь стоила дороже. Для вознаграждения мусульман-людохватов была наложена поголовная подать на тот народ, который казацкий Моисей взялся освободить от польского ига.

Дороговизна съестных припасов возросла между тем страшно. Дома оставались только женщины, дети да немощные инвалиды. И те работали мало, имея в виду великую и богатую милость от Бога за избиение злочестивых ляхов и проклятых жидов. Но вместо денежных людей, обременных добычею, возвращались большею частью *изнуженные* оборвыши, часто искалеченные, вообще обленившиеся и, можно сказать, поголовно споенные в походе. Это были не звягельские кушнеры, сервировавшие стол панским серебром, не обогатители, а разорители своих семейств.

Они увеличили, а не уменьшили, голод и нищету в Украине. Вернувшись домой, они пропивали даже то, что в их отсутствие припасали женщины пряжею, тканьем и т. п., как об этом выразительно говорит украинская Одиссея,



которая, по милости казацкого «всегубительства»,  
дошла до нас в таких отрывках сквозь  
Хмельнитчину и Руину, как эпос варяго-русских  
времен — сквозь татарское Лихолетье.

Скоро став козак із походу прибувати,  
Став до нових воріт до ламаних доїжджати, —  
Він з коня не встає,  
Келепом нові-ламані ворота відчиняє,  
Козацьким голосом гукає...  
Скоро стала козачка козацький голос

зачувати,

То вона не стала до його дверми вихождати,  
Стала, мов сивою голубкою, в вікно вилітати.  
Тогді козак добре дбає,  
Хорошенько її келепом по плечах привітає,  
Карбачем по спині затинає.

Тогді козачка у хату вбігала,  
Буцім нехотя нещимний борщ поліном

штиркнула,

Ну його к нечиствій матери! у піч обертала.

До скрині тягла,

Не простого, льняного полотна тридцять  
локтів узяла,

До шинкарки тягла,

Три кварта не простої горілки, оковитої узяла,

З медом да з перцем розогрівала,

Оттим козака частувала та вітала!..

Украинская Одиссея, с примерным для историков прямодушием, изображает милые привычки казацкого быта, приобретаемые в безжённых товариществах. Несчастливая Пенелопа наша не знала, как скрыть перед соседями синяки под глазами, которыми наградила ее за одиночество казак-Одиссей, и, чтоб отклонить насмешки, придумывала разные небылицы.

А козак сидить у корчмі, мед-вино кружає,  
Корчму сохваляє:

«Гей, корчмо, корчмо княгине!

Чом то в тобі козацько добра багато гине?

І сама єси не ошатно ходиш,

І нас, козаків-нетяг,

Під случай без сви ток водиш.

Результатом казацких подвигов и приобретаемой в походе нравственности украинская Одиссея выставляет следующую картину:

Знати, знати козацьку хату

Крізь десяту:

Вона соломою не покрита,

Приспою не осипана,

Коло двора не чиста (сила) ма й кола ,

На дровітні дров ні поліла:

Сидить в ній козацька жінка, околїла.  
Знати, знати козацьку жінку:  
Що всю зиму боса ходить,  
Горшком воду носить,  
Половником діти наповає.<sup>10</sup>

Люди этого пошиба, общего в казатчине больше всякого другого, не могли внести в Малороссию ни практического ума, ни доброго, умиротворяющего чувства. С ними вернулись в шинки, корчмы, кабаки все те чудовищные истории, которыми запорожцы, подобно иезуитам, прикрывали движение своих корпоративных целей. С их бурным наплывом в города и села, нежные песни украинских женщин, эти грациозные в своей страстности произведения неграмотной Музы, были заглушены песнями разбойными.

Они внесли в города и села запорожский разврат мышления и разврат чувствования, в прибавку к тому, что угнездилось там со времен оных. Пропагандируя войну за веру, вместе с войною за казацкую «честь-славу, войсковую справу», при посредстве пьянства, картежничества, костырства и кабачного распутства, они поднимали голодную, беспутную и бесчестную чернь на

---

<sup>10</sup> Полная дума о казацкой жизни напечатана в моих «Записках о Южной Руси», т. I, стр. 215–220.

московского царя с таким успехом, что московские пограничные воеводы стали сзывать сельских жителей в города для осадного сиденья, а к царю вопияли о плохом вооружении своих команд и замков-острогов.

Между тем паны, теснившиеся за Случью и Припетью, с нетерпением ждали времени, когда будет им дозволено вернуться в свои займища, на пепелища их колоний, в окровавленные развалины их домов. Дозволение зависело *de jure* от сеймового утверждения Зборовского договора, но *de facto* — от настоящих владельцев панских имений, настоящими же, фактическими владельцами были те, от которых бежали владельцы юридические. Такова была дилемма Хмельнитчины. Руководитель изгнания из Украины ляхов-католиков, ляхов-протестантов, ляхов-православников, то есть вообще панов ляхов, поднял поголовно всех способных и готовых к бою, как вооруженных, так и безоружных, поднял не только на освобождение русского народа от гонителей христианской веры, как он прокламировал, но на истребление и самого имени ляшеского. Под этим девизом бился он с князем Вишневецким, с королем и наконец с панскою челядью — за казацкую «честь-славу, войсковую справу». Чтоб не было на Украине ни ляха, ни жида, ни Унии, уложил он по малой мере 100.000 ополченцев своих в сырую землю на

Волыни и в Белоруссии, да заплатил Орде вдвое или втрое столько же молодых молодич, дивчат, паробков и детей, сверх миллиона татарских пленников, насчитанного прежде литовским канцлером, и довоевался до того, что ему повелела верховная власть, — не королевская, а ханская, не христианская, а басурманская, — призвать обратно в Украину панов ляхов, без различия исповеданий.

Казацкий батько впутался в такую игру, что ему осталось одно — сделаться казацким ханом, султанским подданным, а своих «детей, друзей, небожат» превратить в головорезов янычар. Так и решился он действовать. Но этого не знали еще ни в Москве, ни в Варшаве; этому не верили даже в Стамбуле. Все были затруднены до крайности: как быть с огромной шайкой разбойников, с казатчиной? И всех больше затруднялся этим вопросом атаман разбойницкой шайки.

Неопределенность его политики обнаружила попытка Киселя заняться своими хозяйскими и воеводскими делами в Украине. Чтобы позондировать взволнованное море, которое дважды уже выбросило его на опустошенный панский берег, Кисель послал своего слугу, Сосницкого, под прикрытием надворной дружины своей. Сосницкий рапортовал ему из Киева, от 28 сентября, что мужики не оставляют своего предприятия (plebs v s'wojem przedsiwzieciu nie

ustaje), напротив они теперь хуже, чем были в прошлом году. «Никаких листов не уважают» (писал он). «Хотя мы ехали и с казаками, но в нескольких местах были задержаны, и нам грозила великая опасность; а не будь с нами казаков, Бог знает, остались ли бы мы в живых».

В Киеве Сосницкий застал Выговского. Тот не советовал ему ехать к пану гетману, и дал для отправки к пану воеводе письмо. Киевский войт принял посланцев Киселя радушно. Он также находился в великой опасности, и мещане лишили было его войтовства. Поэтому не хотел он, да и не мог, приступить ни к каким ревизиям имущества, подлежащего воеводскому ведомству. Проезжая через Вышгород, Сосницкий видел в шалашах (szorach) не мало «поташей», но считать их было трудно, потому что их грузили на байдаки и возили в Киев. Киевские мещане купили 400 бочек, а на остальные трудно было найти купца. «Нам говорили» (заметил Сосницкий), «будто бы этот остаток как из Киева, так и из Вышгорода приказано спускать на низ».

Дело в том, что когда панские имения были расхищены, когда даже «панские жены сделались женами казацкими», как говорит Самовидец, — поташ, главный после земледелия и скотоводства продукт панского хозяйства в Украине, остался цел по своему не съедобному и не горючему свойству.

Хмельницкий старался превратить его в деньги до возвращения панов на свои пепелища и пустыри. По сказанию Варшавского Анонима, из одного Млиева, экономического центра украинских имений Конецпольского, Хмельницкий за поташ взял от волошских купцов больше 200.000 битых талеров. «Жаль было уступить это полякам» (пишет он). «Но разве один Млиев? У Конецпольского, Вишневецкого, Замойского и других отнято было семьдесят городов, сел, слобод и пасек, которые приносили такие доходы, что горько и вспомнить».

Этим объясняется, почему казакам надобно было всячески губить Вишневецкого и наследника Станислава Конецпольского, соперника Вишневецкого в колонизации Малороссии. Этим объясняется также, почему казаки восставали в Украине против Зборовского договора еще больше, чем паны в Варшаве. Аноним прямо говорит: «В особенности же многочисленные и многолюдные добра Вишневецких и Конецпольских были препятствием этому трактату: ибо пребывание таких могущественных панов на Украине вело к постоянной войне с ними. Лучше было, раз навсегда отнявши эти имения у магнатов, обсадить их казаками и тем обеспечить себя от измены».

На Заднепріе поверенный Киселя, Сосницький, не решился ехать. Выговский дал ему понять, что гетман медлил мероприятиями для

лучшего перемещения казаков из-за черты казатчины (ta prolongacya uczyniona dla lepszej gumasyjej). Он де разослан уже на все стороны для сбора известных (wiadomych) данин и других доходов. Отдавать же шляхетские местности в аренду не думает, до утверждения сеймом договорных пунктов.

«Духовенство наше» (писал Сосницкий) «такое, каким было в прошлом году». В этом лаконизме скрывается мысль, что сановитые представители малорусского духовенства не соединяли интересов церкви с интересами казачества, и что митрополит беседовал с Сосницким так же секретно, как и с Киселем.

Последние слова донесения Киселева конфиденнта заключали в себе самое важное для панов известие, что Хмельницкий не публиковал в Украине о мире.

В своем письме Выговский советовал Киселю приостановиться с приездом в Киев до дальнейшего решения пана гетмана, потому что он не приступил еще к делам комиссии, боясь воспламенить народ в самом жару его (bo teraz na pocztku samym ogien i zarzie rzuci sie miedzy niemi). «В этот огонь ехать вам опасно», писал alter ego Хмельницкого.

Мы знаем, как безуспешно старался Кисель в прошлом году провести, под покровом комиссии, киевскую шляхту на её пепелища. Теперь, в звании



киевского воеводы и украинского комиссара, энергичский миротворец предпринял нечто в роде новой колонизации возобновившихся малорусских пустынь — водворением землевладельцев и должностных лиц там, где уже два года царила казако-татарская орда. Чтоб установить порядок вступления тех и других в свои права, он созвал в Житомире шляхетский сеймик под своим председательством.

Хмельницкий уведомил его из Чигирина от 8 октября, что разослал всюду универсалы, повелевающие посольству в городах (*pospolstwa po miastach*) вести себя смирно, и объявляющие, что этот сеймик созван для утверждения казацких прав и вольностей, а равно и для успокоения религии, которая так долго не могла стоять на своей старине (*wedlug starozytnosci swej konca wziasc nie mogla*). При этом просил он Киселя внушить шляхте, что «невинная кровь лилась так долго от нарушения казацких прав и вольностей», и выражал надежду, что на генеральном сейме греческая вера будет успокоена, а уния совершенно (*penitus*) уничтожена, «и то, что наши предки» (писал он) «падали на Божие дома, будет возвращено». Он уверял, что ждет его приезда в Киев, как давнишнего благоприятеля Запорожского войска, «с великою охотою», а для безопасности проезда послал к нему двух казаков с универсалами, которыми бы они

усмиряли посольство. Относительно дедичных и дигнитарских имуществ Киселя он также, по его словам, разослал всюду универсалы, и старался о том, чтобы войско было переписано в 40.000-й реестр, а на сейм обещал выслать казацких послов.

В то же самое время благодарил Хмельницкий письменно короля за его великую, истинно-отеческую милость, обещал привести Запорожское войско в определенный порядок, уверял, что никогда не оплатит погибели стольких невинных душ, и, «падая низко под ноги королевского маестата», свидетельствовал свое верноподданство.

И опять через три дня писал он к Киселю, что посылает «двух товарищей своего войска, чтоб усмиряли посольство, дабы житомирский сеймик мог отправляться спокойно», но «просил усиленно», чтоб их милости паны-обыватели держались относительно подданных «скромно» до скомпutowанья войска, а потом» (писал он) «каждый из их милостей, «как был, так и останется». В противном случае» (прибавлял он ехидно) «надобно бояться, чтобы малая искра не сделала великого пожара (*parva scintilla magnum excitat incendium*), так как до нас доходят разные вести, что польское войско готовится приблизиться к нашим краям, а это было бы противно воле его королевской милости и нарушило бы пункты». Он

«униженно» повторял свою просьбу, чтобы паны не воспрещали тем, кто принадлежит к Запорожскому войску, продавать все добро свое (*wszystkie dobra*) и выходить в Украину. Он убеждал, чтоб обыватели Киевского воеводства благоволили быть терпеливыми, и чтобы польское войско не приближалось к «здесьним краям».

С своей стороны Выговский, от 9 октября, уведомил Киселя из Чигирина, что посодействовал слуге его, Сосницкому, ехать в заднепровские имения; «а к черкасскому полковнику» (заметил он), «хоть и близко, я знал, что это будет трудно.<sup>11</sup> Отложим до ревизии (где королевские имущества и где шляхетские) и до устройства войска. После ревизии, все тотчас должны будут поклониться вашим милостям. Этого желает и сам пан гетман (*i sam pan Hetman przychylnym jest*)».

По многим причинам Малороссию было возможно покорить оружием, но не было никакой возможности слить в неразделимое тело с Польшею и подчинить навсегда панам, которые, в глазах церковной интеллигенции малоруссов, сделались ляхами, и были ими действительно, если не по церковному обряду, то по воззрению на

---

<sup>11</sup> Брат Адама Киселя, Юрий, был черкасский староста, следовательно, совместник полковника по доходам.

малорусскую церковь и по обычаю. Кисель считал свою миротворную миссию делом практическим; но собственный ответ его на письмо Хмельницкого показывает, что его практичность основывалась на мечтательности. Этому письму Кисель ждал с великим нетерпением, но оно пришло к нему только 20 октября. Не получая никакого известия, он обходился осторожно с посольством, которое Зборовскими пактами было освобождено от панского присуда только по Коростышев, но бушевало всюду по-старому. Чтобы раздраженная шляхта не дала казаковатой черни какого-либо повода к замешательству, он принужден был, с общим горем и с умалением королевского достоинства, отправить сеймик под открытым небом, над рекой Случью, между Звяглем и Несолонью, терпя крайние неудобства со всеми сеймикующими. «Вед своеволие — вечный враг мира (swawola rokojowi na wilki nie zyczliwa)» философствовал Иисус Навин шляхетского Израиля в виду обетованной земли, и удовлетворялся только тем, что киевская шляхта сеймиковала на киевской земле, хоть не в обычном месте. «Если ваша милость» (писал он) «сделал это с умыслом, для посмеяния, — Бог тебе судья, и хотя я, убогий воевода киевский, кочевал здесь со всею братией, но, в надежде на будущее, покрываю (молчанием). Что касается другого пункта вашего письма,

относительно того, чтобы паны-обыватели держали себя скромно, то не может быть большей скромности, как та, что все мы, глядя на дымы отчизны (ojczyste dymy), ожидаем убежища у берега отеческой земли, — ожидаем возвращения отправленных к вам с сеймика наших братьев, как слуге его королевской милости и согражданину того же воеводства. Пора уже вам умилосердиться над нами, вашей братьей, и исполнить пакты, на которые вы присягнуты, и которые заключаются в трех пунктах: первый, чтобы казакам быть только по Коростышев; второй, что из дальних волостей имеют они право выйти; третий, что не желающие быть в реестре, должны оставаться в подданстве его королевской милости, а в наших дедичных добрах — в обычном повиновении нам. Мы готовы поступить по этому постановлению, и все, кто будет в реестре, пускай себе на здоровье будут казаками, а мы пускай живем в своих домах. Уже и сами подданные наши готовятся к нам (garna se do nas), и только те, которые желают казаковать, все портят... Благоволите же выслать свои универсалы, чтобы все те, которые хотят принадлежать к войску, подали каждому из нас в его имени реестр, за подписью сотника или атамана, и мы не будем к таким иметь никакого дела, пока вы кончите свою ревизию. Кто войдет в войсковый реестр, тот пускай идет себе со всем своим имуществом, кто же

не войдет и захочет остаться с паном, пускай здоров остается. Каждый пан в своей маетности не только не будет препятствовать этой ревизии, напротив, будет помогать ей: если хочет иметь больше подданных, то будет с ними сноситься, и милостью своею привлечет их к себе. А кто непременно хочет быть казаком, тот обратится к вам, и это облегчит вам составление реестра. Но когда нам, глядя на наши маетности по заключении мира, нельзя въехать в них, — что ж это за мир и за согласие? Это только большая досада... Наступает зима: каждый обогрелся бы на своем пепелище. Да и самая действительность мира не может иметь большего ручательства, как пребывание каждого в своем доме. Уверяю вашу милость, что дом каждому мил: после двухлетней драки, каждый научился держать себя скромно и привлекать к себе подданных... Что касается имений в черте пребывания казаков, то допустите только наших старост и подстаростиев поселиться на своих местах. Они будут ждать составления реестра. Кого вы впишете в реестр, тот будет казаком, а кто не будет вписан, тот останется при замке и пане. Так от веков бывало: почему же не может быть и теперь? Ради Бога (сообразите, что) один слуга, который будет подстаростием в королевщине, или старостою в дедичестве (*albo w dziedziectwie Starosta*), ничему не помешает, а доходы уже начнутся, и

будет видно, что мы наслаждаемся миром, и согласимся. Но когда я — воевода киевский, а королевский замок и в мирное время пустеет по-старому и нет в нем моего подвоеводя, и не будет мне никакой власти и дохода, — что ж это за мир такой?.. Я бы советовал реестровать сперва там, где сама природа создала казаков (*gdzie sama natura kozakow miesc chciala*), а из отдаленнейших волостей дополнять... Хотел бы я видеться с вашмостью паном и, переговорив обо всем, поспешить на сейм для окончательного служению миру и согласию... Для того я медлю здесь, у ворот Киевской земли, чтобы вы пустили братию нашу в их дома, и я, поблагословив им, ехал в Киев и другие подначальные мне замки: это будет пакт и первый знак мира».

Кисель уверял Хмельницкого, что слухи о приближении войска вымышлены, и просил его не верить слухам. Но Хмельницкий думал по-своему.

Недели через три, писал к нему король, называя его благородным и верномилым (*urodzony i wiernie nam mily*), требовал, чтоб он охранял общее спокойствие от своевольных куп, и указывал, что казаки все еще остаются в Любече, Лоеве, Стародубе и других городах Великого Княжества Литовского.

Хмельницкий отвечал ему, от 23 ноября, что войсковая ревизия производится с великою

поспешностью, обещал прислать послов на сейм с верноподданническим повержением казаков к ногам королевского маестата и уведомлял, что Крымский хан, по давнишнему обычаю брать дань в *черкасах* (то есть в земле черкас, черкесов), прислал казакам наказ (*przyslal do nas, abysmy*), по вечной дружбе, которую они (татары) взаимно завзяли (*zawzieli*), дать ему две или три тысячи войска для взыскания дани (*kazni*), как это выговорено и при договоре с королем. «А татары» (писал он) «всегда готовы служить вашей королевской милости против каждого неприятеля».

Положение колонизаторов пустынной Малороссии было беспримерно горестное.

Дикая страна, в которой венецианский путешественник XV века, Контарини, не находил ночлега между Луцком, Житомиром и Белогородкою, эта *Rossia bassa*, в которой Киев стоял за чертою населенных мест (*chi e fuori della detta Rossia*), в которой видал он только пьянство, слышал только про лесных бродяг, — эта панорама бесприютных и голодных трущоб трудами и подвигами их прадедов, дедов и отцов была превращена в страну, цветущую земледелием, скотоводством, промыслами, торговлею, — и созданное смелою, энергическою колонизациею предков многолюдство лишило потомков тех прав, которые были утверждены веками,



правительствами, народами, — лишило для того, чтобы «землю, текущую молоком и медом», превратить в такую неприютную и голодную пустыню, какою Контарини видел ее с ужасом 175 лет назад...

Ach! czyjez serce, czyje w zalu sie nie nurzy?<sup>12</sup>

неволью повторяет потомок завзятых и беспутных казаков стих потомка не менее завзятой и по-своему беспутной шляхты, когда широкая земля, напоенная кровью тех и других, отвечает на его вопросы таким же широким молчанием.

Bo na rozleglych polach rozlegle milczenie.  
Tylko wiatr szumi, smutnie uginajac klosy;  
Tylko z mogil westchnienie i tych jek z pod  
trawy,  
Co spia, ua zwiedlych wiencach swojej starej  
slawy.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ах, чье же, чье сердце не погрузится в печаль!

<sup>13</sup> Ибо на широких полях широкое молчание. Только ветер шумит, наклоняя печально колосья; только вздохи из могил и стон из-под травы тех, что спят на увядших венках своей старой славы.

Наших полонизованных русичей мы поминаем польскими стихами. Русских стихов не заслужили эти жертвы римской политики: они предпочли чуждый элемент элементу родному, и судьба жестоко наказала их за отступничество вместе с теми, для кого они сделались отступниками.

Православный предводитель полонизации, не умевший даже повторить малорусской фразы,<sup>14</sup> Адам Кисель, изобразил их несчастное положение в письме к Оссолинскому яркими красками:

«Пять недель мииовало уже, как посылал я к Хмельницкому, и до сих пор не имею никакого ответа; а при этой его кунктации, всегда для меня подозрительной, чернь остается в купах и не пускает панов по домам. В Брацлаве убито несколько десятков, в Бышеве — десятка полтора. Меды, чинши, паствы, аренды с Киева и отовсюду берут на Хмельницкого; наконец, поташи, где еще были, распроданы... Получил я известие, что большая часть Орды осталась у него, и кочует здесь

---

<sup>14</sup> «Были у меня киевские мещане» (рассказывает он); «вместо раты, принесли мне пять червонцев. *Сваты Бог! и тое есть, о чем воеводзе на сейм ехаць?* так говорит наша Русь».

при нем. На мои вопросы: для чего? отвечают мне, что все это делают наши, которые уже и зимою грозят им войною; при этом охуждают пакты и чего только не говорят! А Хмельницкий все это знает и слышит. Шляхта же (*nobilitas*) доходит здесь до последнего отчаяния: негде и нечем жить. Хотели было ехать по своим домам, хоть бы нас, говорят, и перебили. Едва кой-как удержал я различными способами. Коротко сказать, нет уже ничего у тех, у кого было по 100.000 имущества: не за что купить хлеба».

Эту картину дополняет Варшавский Аноним рассказом о том, как бедные изгнанники возвращались «к своим порогам» по следам Киселя, въехавшего наконец в Киев на воеводство. «Хмельницкий показывал, будто бы искренно вводит их, и внушал подданным повиновение. Но едва вступила шляхта в свои дома, хлопство снова давай бунтовать, не терпя панов, и начало убийства. Пришлось опять бежать, унося свою жизнь. В Киеве не допустили их до города; скитались по предместью. Редко кому присылали из дому булку хлеба или возок сена, а тут наступила дороговизна. Что у кого еще было в запасе, все принуждены были выискрить. Не многим удалось даже коснуться границ имения своего».

Между тем Хмельницкий (рассказывает Аноним далее) накладывал невыносимые

контрибуции в свою пользу на великие добра, которые надобно было возратить панам, прочие раздал полковникам, захватил староства, замки, маетности, фольварки, забирая всюду доходы, скот, стада и что возможно было взять; чтобы не досталось владельцам, все брали в его скарб; обогащался один общим разорением и оставил владельцам одно право на вступление в те добра».

Кисель, вместе с Косовым, стал убеждать Хмельницкого, говоря, что он привлечет Божие благословение на своих детей, если приостановит разлив крови и слезы изгнанников. «Эти слезы» (внушал ему митрополит) «каплют из людских очей на твою душу. Ведь эти люди жили прежде изобильно, как и другие, а теперь у них нет и куска хлеба. Они же — наши собратия той же благочестивой веры, что и мы с вами, но дни свои проводят в поругании и в слезах. Некоторые перемерли с голода, а других замучили мужики. Бог это видит и грозит отмщением».

Хмельницкий отговаривался, что не он причиной медленности в исполнении Зборовского договора. «Это такое трудное дело» (говорил он), «что его можно сравнить с толстым и высоким дубом: пока он вырос, надобно было ждать столетие».

Объяснением этих слов было событие, случившееся вскоре после архипастырского

увещания. «Когда компут 40.000-го войска приходил к концу» (рассказывает Аноним), «казаки-ветераны соглашались на Зборовский трактат, но те, которые завладели чужими добрами, и сделались из поспольства коноводами (*hersztami*) бунтов, эти *отчайдуши*, для того чтоб укрыться от кары за свои злодейства, домогались также включения в компут, а было такого своевольного хлопства, не хотевшего вернуться к повиновению своим панам, еще тысяч сорок. Они прислали к Хмельницкому послов, которые говорили ему: Так-то, пане гетмане, покидаешь ты заслуженных тебе людей! выдаешь ляхам на муки тех, которые тебя обороняли.

А ты ж присяг не отступить нас! Мир значит предательство. Под смирением кроется у панов обман и месть. Одн хотят обезоружить тебя, отнять у тебя верных воинов, чтобы скорее тебя погубить. Но если ты решился уже даться ляхам в обман и погибнуть, то мы будем искать такого, который будет вернее и лучше защищать казацкое имя». — Посольство это пришло к Хмельницкому от казаков поднестриан и побожан, прямых разбойников, предводителем которых был брацлавский полковник Нечай.

«Хмельницкий» (пишет Аноним далее) «боялся, чтобы казаки, воюя одни с другими, не выгубили сами себя, и потому начал благодарить

своих бунтовщиков за гетманское достоинство; но потом стал почесывать в голове (poczał sie w głowie skrobac) и высказал Киселю свою тайную мысль: «Вы, паны поляки,» (говорил он) «принудили меня под Зборовым к нелепому делу, постановив, чтобы казаков было только 40.000 в компуте. А где мне девать такое множество людей? Они с отчаянья или на меня встанут, или на вас».

Мысль о неверности затеянного дела сопровождала все поступки Хмельницкого, и пробивалась даже в его хвастовстве перед ляхами. По возвращении своем из-под Зборова, он убеждал разнузданных сподвижников своих лестью. Подобно тому, как в свое время пьяница Бородовка ревел в казацкой раде: «перед Запорожским войском трепещет земля Польская, Турецкая и весь свет», Хмель проповедовал за чаркою, что под Зборовым сила казацкая взвешивалась на весах судьбы с силой польскою, и теперь де вся вселенная знает, что за народ казаки, какая потуга их, какое могущество. Но в то же самое время составлял себе гвардию, сверх татарской из отборных казаков. Эго было ему тем необходимее, что, для расплаты с ханом за Збаражский и Зборовский походы, обложил он поголовным налогом весь посполитый народ. Надворные татары и задобренные избранники казаки обеспечивали ему сбор поголовного налога в Украине так точно, как

вооруженная сила помогала хану взимать с кавказских *черкасов* дань, или как называл ее Хмельницкий, *казнь* (kazn).

Относительно гарантии личной своей безопасности, казацкий батько не представлял исключения. Роты телохранителей, подобные варяго-русским дружинам, содержали при себе и те казацкие гетманы, которые предшествовали гетманам-бунтовщикам, так как всякая походная неудача подвергала казацкого вождя опасности потерять не только булаву, но и голову. Молодость и ученические годы казакovanja Хмельницкого совпадали с тем временем, когда представители королевской власти журят бывало казаков за частое низвержение и убийство их избранников. Будучи страшен каждому в Украине, Хмельницкий должен был больше всех опасаться за свою судьбу и за жизнь. Отсюда-то и происходила та изменчивость в его чувствах и намерениях, которая озадачивала казацкого соблазнителя, Смяровского, и путала хитроумного политика Киселя.

## Глава XXIII

*Фальшивое представление короля героем и патриотом. — Немногие обманывают многих. — Кто собственно был угнетателем*

*«убогих людей». — Новая реестровка казаков. — Замена панского ига игом казацким. — Бедствия малорусского посольства от казацкого бунта. — Две орды в виду культурных соседей. — Замыслы татар и казаков против Московского Царства. — Турецкая протекция. — Нагромождение горючих материалов. — Грозное посольство московского царя.*

После многолетнего общения с польскою шляхтою, казаки, равно как и нынешние казакоманы, усвоили от неё такую привычку к самохвальству, что даже разбой и предательство, которыми всего выразительнее отличались «украинские национальные герои», они старались и стараются прославлять, как достойные подражания доблести.

Не решая вопроса, ученики ли в этом отношении превзошли учителей, или же воспитанные католическим Римом учителя остались на недостижимой высоте своего превосходства, скажу, что поляки, опозорясь избранием Яна Казимира на престол, имели бесстыдство называть перед Европой душу его возвышенною, а его разум благородным. За подвиги 1649 года и шляхетский народ, и народ казацкий превозносили себя одинаково. Но бесстрастная муза Клио, зная, чем завершились эти



подвиги, бросает в лицо шляхетскому народу один стих Данта:

E per l'inferno il tue nome si spandi<sup>15</sup>

а народу казацкому — другой:

E tu in grande onoranza non ne sali.<sup>16</sup>

В то время, когда миллионы людей страдали нравственно и вещественно за грехи королевского правительства, католическая Европа была полна хвалы «возвышенной душе и благородному разуму» Яна Казимира, она читала распространенную всюду «Реляцию о славнейшем походе, победоноснейшем успехе и счастливейшем примирении с неприятелями всепресветлейшего и могущественнейшего Яна Казимира».<sup>17</sup> Но, в виду

---

<sup>15</sup> И в аду распространилась твоя слава.

<sup>16</sup> И ты не возвысилась тем до великой чести.

<sup>17</sup> Relatio, quae exoteros missa est: gloriosissimae expeditionis, victoriosissimi progressu, faustissimae pacificationis cum hostibus serenissimi et potentissimi Domini Johanni Casimiri Regis Poloniae.

противоречий казацкого гетмана, выражаемому им смирению и в виду неверности собственного его положения, замеченной еще под Пилявцами, король предположил созвать на 22 ноября чрезвычайный двухнедельный сейм, собственно для того, чтоб обеспечить государство военными средствами. В инструкции своей на сеймики Ян Казимир представлял шляхетскому народу, как мало и как медлительно помогал он правительству в обороне от неприятеля. Обстоятельство это называет король фатальным и обычным препятствием в военных делах и успехах Речи Посполитой (*naztapila fatalis zwykla w tej Rzpliej rzeczom i progressom wojennym przeszkoda*). Одни воеводства (писал он) дали только некоторую часть причитающихся с них денег, а другие до сих пор пичего не дали, так что большая часть войска служит даром, а другая получила лишь немного.

Мы видели, что король, с своей стороны, для чего-то медлил третьим оповещеньем посполитого рушения, и тем испортил всю кампанию; но шляхетская медлительность в исполнении гражданских обязанностей давала ему возможность взвалить вину на других и разыгрывать роль рыцаря без страха и упрека, сочиненную иезуитами для оглашенных. Утаенные от общества статьи Зборовского договора, разосланные по Европе реляции о непобедимости того, кто вернулся с

похода «визжащим, поруганным, побежденным, ободранным», возвышение присяжными проповедниками подвигов короля до равенства с подвигами князя Вишневецкого, приветственные речи, в которых представители таких городов, как Львов и Замостье, называли Яна Казимира непобедимым победителем, наткнутые в варшавском соборе Св. Яна казацкие знамена, отбитые Радивилом у Голоты, Подобайла, Кричевского, и всевозможные манифестации со стороны тех, чьи интересы были неразлучны с его интересами, — все сделало из ничтожного, презренного и портившего дело<sup>18</sup> короля нечто похожее на великого монарха, и сам он, как омороченный няньками ребенок, возымел о себе такое мнение, что даже многоопытного литовского канцлера поучал литовским законам, а в последствии и самому князю Вишневецкому давал чувствовать недостаток боевого мужества.

---

<sup>18</sup> По замечанию Альбрехта Радивила, одною из причин печального результата было гетманованье короля (Рат. II, 386); а преисполненный уважения к царственности Варшавский Аноним, указывая крупные ошибки Яна Казимира перед походом говорит: «Zeby wiekszych errorow nie bylo, odradzali Krolowi, aby sam nie narazal sie na takowe niebezpieczenstwa. Krol urazony deklarowal, ze ja sam pojde z wojskiem.» (Pam. do Panow. Zygm. III etc. II, 78).

Инструкция на сеймики, плод пера одного из ангелов-хранителей Яна Казимира, представила его в ореоле самоотверженного героя, рвавшего на подвиги славы и чести, не взирая на советы людей, которые клали его жизнь на весы с целостью отечества. Даже неведение о неприятельских силах, захвативших его врасплох, послужило сочинителю инструкции к возвышению короля-полководца: ибо неприятель де так сжался, что не выпустил ни одного загона за сторожевую линию свою. Этот только робкий неприятель два раза пробовал под Зборовым и своего счастья, и могущества его королевской милости; но король де, исправляя должность и полководца, и воина, дал ему отпор, так что неприятель первый склонился к миру и отозвался с такими условиями, которые были спасительны и славны для Речи Посполитой в нынешнем её положении (*Reipublicae hoc statu salutare et gloriosae*).

В виду столь наглого бесстыдства перед современниками и потомками, знающему закулисную сторону польской государственности, приходит на мысль драгоценный дневник Освецима, изображавший события 1643–1651 годов. Из него исчезли годы 1648–1650; осталась только часть 1650 года (январь, февраль, март) да весь 1651-й (год упадка казако-татарской силы). Это, по всей вероятности, было дело такой руки,

какая о московской самозванщине написала, что источник этого дела должно хранить в тайне.<sup>19</sup> В истребленной части Освецимова дневника и сам Ян Казимир, и те, которые показывали эту марионетку обществу иезуитски оглашенных, без сомнения, выступали не в лучшем свете, как и в тех документах, которые истребить не было никакой возможности.<sup>20</sup>

И инструкция на сеймике была только предуведомление к славословию короля на сейме. Там Оссолинский целых четыре часа (удалив, однакож, лиц, не принадлежащих к членам сейма) держал перед панами речь о Зборовском походе,

---

<sup>19</sup> Zrodlo tey sprowy z ktorego nastepujace plyneli potoki w prawdzie tajemne rady skrycie chowane maja i nie trzeba odkrywac tego soby napotym przestzedz nieprzyjaciela mialo». (Рукоп. Библ. Красинских, лит. В. I, 8)

<sup>20</sup> Издатель книги «Pamietniki o Koniecpolskich», знаменитый археограф Пршиленский, на стр. 295, объявил (лет 40 тому назад), что цельным рукописным экземпляром Освецимова дневника владеет некто Мартин Пршибыльский, в Живце (близ Кракова). Сколько я ни спрашивал за границей у польских археографов о судьбе этого бесценного мемуара, они мне отвечали с каким-то странным равнодушием, точно родственники того, кто сократил экземпляр, принадлежащий библиотеке Оссолинских.

начав с коронации и в заключение прочитав редактированное известным способом письмо короля к хану, в котором де король силу своего оружия увенчал славою дипломата. Наступивший вечер не дал Оссолинскому докончить хвалебную реляцию. В следующем заседании (пишет в своем дневнике Радивил) «канцлер продолжал свою реляцию, сравнивая Зборовский триумф с Хотинскою победою, одержанною при Сигизмунде III, и превознося его даже выше, ибо под Зборовым неприятельская сила была больше, а наше войско малочисленнее, да еще и без гетманов. Одни смеялись на это, другие называли (реляцию Оссолинского) ласкательством. Но (примас) архиепископ, вставши со всем сенатом, благодарил короля за спасение Речи Посполитой с опасностью собственной жизни».

Умолчание о Посольской Избе показывает, что не сенаторы, а некоторые из её членов смеялись и называли канцлера льстецом. Зато Радивил записал слух, что многие из королевских сподвижников, во время битвы, спрятались в конопле, где найдено и несколько брошенных ими знамен.

Радивил не был под Зборовым, и писал о доблестях своих сограждан по слухам. Доблести казацкие были ему известны обстоятельнее. «По заключении мира между нашими и татарами»